

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

№

11

г.

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·
ВЕДЕНИЕ



журналу

40

лет



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Журнал издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН



2005

СЕНТЯБРЬ •

ОКТАБРЬ •

Содержание

СТАТЬИ

- Долбилов М.Д.* (Воронеж), *Сталюнас Д.* (Вильнюс). “Обратная уния”: проект присоединения католиков к православной церкви в Российской империи (1865–1866 годы)..... 3
- Морозов С.В.* (Москва). К вопросу о секретном польско-германском договоре 1934 года 35
- Косик В.И.* (Москва). “Късмет Космета”. (О судьбе Косова и Метохии)..... 54

СООБЩЕНИЯ

- Рупчева Г.* (София). Деятельность Центральной комиссии по оказанию помощи русским ветеранам русско-турецкой войны 1877–1878 годов 67
- Крючков И.В.* (Ставрополь). Российская дипломатия о политической борьбе на национально-церковных соборах сербов Венгрии в 1902–1907 годах 78

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Хаванова О.В.* G. Marinelli-König. Oberungarn (Slovakei) in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1848). Blicke auf eine Kulturlandschaft der Vormoderne. Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme der Beiträge über die historische Region und ihre kulturellen Verbindungen zu Wien 83
- Вартаньян Э.Г.* Болгария в XX веке. Очерки политической истории 85
- Серационова Е.П.* E. Voráček. Eurasijství v Ruském politickém myšlení. Osudy jednoho z revolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace..... 90
- Башинджагян Н.* STUDIA POLONOROSSICA. К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко..... 92
- Адельгейм И.Е.* В.Я. Тихомирова. Польская проза о Второй мировой войне в социокультурном контексте 1989–2000 95
- Мельников Г.П.* Прага. Русский взгляд..... 99
- Мельников Г.П.* Чешское искусство и литература. XX век 102

<i>Гришина Р.П.</i> Конференция “Государство и его институты на Балканах в конце XIX – первой половине XX века”	108
<i>Досталь М.Ю.</i> А.Н. Пыпин и проблемы славяноведения	113
<i>Вельмезова Е.В.</i> Международная конференция “Изобретение Славии”	116

ЮБИЛЕИ

К юбилею Ирины Степановны Достян	119
К юбилею Геннадия Григорьевича Литаврина.....	120
К юбилею Нелли Петровны Мананчиковой	122

НЕКРОЛОГИ

Памяти профессора Тоне Ференца	124
Памяти Капитолины Ивановны Ходовой	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.К. ВОЛКОВ (главный редактор),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, Г.К. ВЕНЕДИКТОВ,
Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,
В.В. МОЧАЛОВА, К.В. НИКИФОРОВ, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,
М.А. РОБИНСОН (зам. главного редактора),
Л.А. СОФРОНОВА, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН

А.В. Болдов (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии), *Якушкина В.И.* (отдел лингвистики),
Стыкалин А.С. (отдел истории)

Зав. редакцией *Г.А. Михеева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Пономарева Е.В., Веслова И.Ю.*

Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Телефон 938-01-20
E-mail: jurslav@rambler.ru



© 2005 г. М. Д. ДОЛБИЛОВ, Д. СТАЛЮНАС

“ОБРАТНАЯ УНИЯ”: ПРОЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАТОЛИКОВ К ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1865–1866 годы)

Отношения Российской империи с римско-католической церковью – как Святым престолом, так и местным клиром – всегда складывались непросто. Особую напряженность и драматизм им придало восстание 1863–1864 гг. (Январское восстание), в котором приняли активное участие многие представители католического духовенства. В понимании властей, на бывшей территории Речи Посполитой – в Царстве Польском и так называемых западных губерниях (Правобережная Украина, Белоруссия, Литва) – “полонизм” и католицизм образовали подрывной антироссийский союз.

Ближайшим ответом правительства стали репрессивные мероприятия, такие как казни и ссылки ксендзов, упразднение монастырей, приходов и даже целых епархий, закрытие костелов, введение жесткого контроля за порядком отправления религиозного культа и др. Зайдя весьма далеко в такого рода политике, Александр II в ноябре 1866 г. официально расторг конкордат с Ватиканом 1847 г. [1. С. 316–330; 2. С. 46–47]. Однако окончательный успех дела, сам по себе понимавшийся по-разному, ставился в зависимость от воздействия на конфессиональную идентичность больших групп католиков-мирян. В этом отношении наметились два основных подхода, друг друга вовсе не исключавших. Первый из них, практиковавшийся только в Западном крае (преимущественно в белорусских губерниях), заключался в организации или инспирировании массовых переходов в православие и, соответственно, сокращении численности католической паствы. Идеалом мыслилось полное ее исчезновение, растворение в православной церкви, но открыто такая цель провозглашалась лишь наиболее экстремистски настроенными русификаторами, приверженными религиозной концепции “русскости” (русский – прежде всего православный).

Долбилов Михаил Дмитриевич – канд. ист. наук, доцент кафедры истории России Воронежского государственного университета; Сталюнас Дариус – д-р (Ph. D.), заместитель директора Института истории Литвы (Вильнюс).

Исследовательская работа М.Д. Долбилова выполнена при поддержке специальной программы фонда Gerda Henkel Stiftung (Германия) для историков Белоруссии, Молдавии, России и Украины.

Авторы выражают благодарность Полу Верту (Paul Werth), А.И. Миллеру, М.А. Прасолову, Б.А. Успенскому и Руте Чапайте (Ruta Čapaitė) за ряд ценных замечаний и советов.

Второй подход имел в виду разные способы “располячения” и, шире, обрушения католицизма, т.е. ослабления взаимосвязи польской и католической идентичностей, с эвентуальным превращением католицизма в лояльную власти и совместимую с “русскостью” конфессию. В рамках этого проекта речь шла о тех или иных институциональных реформах – учреждении фактически независимого от Рима католического Синода в Петербурге [3. С. 57–69] и упразднении обязательности celibата для белого духовенства [4. S. 64–65], введении после разрыва конкордата нового порядка поставления епископов (без участия Святого престола), замене поляков в католическом клире выходцами из южнославянских земель, предположительно, симпатизирующими России¹, введении русского языка в дополнительное (помимо латинской литургии) богослужение [6. P. 87–100; 7. P. 249–258; 8. С. 570–588] и др.

Эти проекты расширяли контекст восприятия властью католицизма. Разработка упомянутых планов углубляла как в бюрократии, так и в русском образованном обществе интерес, например, к секуляризирующим тенденциям в политике европейских правительств в отношении католической церкви, к сформировавшейся внутри католического мира оппозиции папе римскому Пию IX и его, как считалось, ультрамонтанскому направлению [9]. В весьма широких кругах европейской публики подобная активность российских властей и общества усугубляла уже давно сложившееся и нередко преувеличенное впечатление нетерпимости и интервенционизма в конфессиональной политике Петербурга.

Проект, о котором пойдет речь в настоящей статье, получил известность в Европе в 1873 г., когда русский католик, эмигрант И.М. Мартынов опубликовал в Париже в переводе с русского на французский язык текст некоей записки, дав брошюре заглавие “Новый план упразднения римской церкви в России” [10]². Как явствовало из текста, российское правительство к тому времени уже в течение нескольких лет старалось вывести римско-католическую церковь на территории западных губерний из-под духовной юрисдикции папы римского и присоединить в форме унии, на подчиненном положении, к церкви православной. Публикация Мартынова не только не ставила под сомнение заинтересованность авторов проекта в конечном уничтожении католицизма в России, но и давала понять, что этот замысел включал в себя наступление на христианские конфессии за пределами России.

Предпринятый нами анализ обстоятельств составления проекта и его предыстории позволяет существенно иначе взглянуть на его цели и место в межконфессиональных отношениях. Начать следует с отдельных обстоятельств отмены в России Брестской унии 1596 г., в которой распределение ролей между римско-католической и православной церквями было обратным таковому в интересующем нас проекте.

Хотя по условиям Брестской унии православный чин службы и таинств должен был остаться неизменным, со временем в униатской церкви установи-

¹ Странником приглашения южнославянских католиков (аналогично приглашению с середины 1860-х годов греко-униатов из австрийской Галиции для деполонизации греко-униатской церкви в Царстве Польском) был, например, авторитетный эксперт по католицизму, чиновник Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел А.М. Гезен, сотрудничавший с М.Н. Катковым. Одну из записок Гезена см.: [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 45. Л. 287–288 об.]

² В исторической литературе этот проект обычно связывается с именем предводителя дворянства Минской губернии Евстафия Прушинского – точка зрения, которую настоящая статья призвана существенно скорректировать. [11. S. 421; 12. S. 498; 13. С. 63].

лись гибридные католическо-православные, а то и совсем близкие католическим формы совершения обрядов. Первые меры, поведшие затем к “воссоединению” униатов с православной церковью в 1839 г. (мы не касаемся здесь массовых обращений униатов в православие в украинских губерниях в конце XVIII в.), были приняты после Польского восстания 1831 г. под знаком “очищения” унии от католической обрядности. Лояльное властям униатское духовенство приближало к русской версии православного чина порядок богослужения и важные элементы обрядности, дабы, избегая догматической полемики, исподволь внушить пастве сознание отдельности от католиков и в то же время сделать менее ощутимой смену вероисповедной принадлежности [14. С. 5–20]. Эта деятельность обогатила административный опыт воздействия на конфессиональную идентичность. Проблема внутренних, личных религиозных убеждений была подчинена приоритету национального единства, коль скоро принятие православия преподносилось возвращением массы населения в “исконную” веру “русского” народа.

В грамоте Святейшего Синода от апреля 1839 г., которая торжественно зачитывалась вчерашним униатам³, догмат изображался чем-то производным от обряда или, точнее, имманентным обрядом: “... В церквах ваших по благодати Божией сохранился (на самом деле был незадолго до того восстановлен. – *Авт.*) Восточный священный чин Богослужения, проникнутый духом православных догматов и преданий”. Впоследствии духовные организаторы “воссоединения” подчеркивали его отличие от религиозного миссионерства, от обращения как такового. В середине 1860-х годов Иосиф Семашко, тогдашний православный митрополит Литовский и Виленский, а до 1839 г. униатский епископ, отмечал, что “воссоединение униатов совершилось иерархическим образом, а не миссионерством. Здесь требовалось не влияния духовенства, а послушания решению архипастырей”. Ближайший сподвижник Семашко в деле отмены унии архиепископ Антоний Зубко, до 1839 г. униатский викарный епископ Литовской епархии, а в 1840–1848 гг. глава православной Минской и Бобруйской епархии, подчеркивал в воспоминаниях, что в процессе оправдания обрядности в 1830-х годах приходское униатское духовенство не принуждалось духовным начальством к тому, чтобы в службе «не упоминать папы римского и не прибавлять в символе веры “и от Сына”» [15. С. 14; 5. Ф. 796. Оп. 205. Д. 284. Л. 137 об.; 16. С. 66]⁴. Различие в догматах (у униатов к тому времени почти тождественных римско-католическим), даже таких важных, как учение о Святом Духе (*filioque*), представлялось меньшим препятствием к поглощению униатства православием, чем отсутствие в униатских храмах иконостасов, приверженность униатов органной музыке или польский язык в проповедях и гимнах. За основной массой верующих попросту не признавалось сознательного усвоения догматики и вероучения.

Ликвидация униатской церкви в Западном крае значительно увеличила “площадь соприкосновения” православной церкви, а следовательно и государства с католичеством на низовом, приходском уровне. И именно в среде перешедших из униатства в православие церковных иерархов возник план “присое-

³ За исключением Царства Польского, где греко-униатская церковь была ликвидирована в 1875 г.

⁴ Надо учесть, что в воспоминаниях, написанных уже после польского восстания 1863 г., Антоний мог относить тезис о нефорсировании догматических расхождений не столько к давно состоявшемуся “присоединению” униатов, сколько к проектируемой им в тот период кампании обращения в православие католического простонародья в Западном крае (см. об этом ниже).

динить” и католиков западных губерний к православной церкви. Сам Семашко не был энтузиастом наступления на католицизм, полагая, что главная задача подчиненного ему духовенства – предупредить переход бывших униатов в католическую веру. Иначе смотрел на эту проблему епископ Антоний. В бытность ректором униатской духовной семинарии в Жировицах Гродненской губернии (1828–1832 гг.) он начал заниматься вопросами антикатолического богословия (хотя в своей аргументации при таких диспутах, если судить по его позднейшим публикациям, шел не намного дальше стереотипных ссылок на подлоги и передержки католических теологов и публицистов). При этом еще со времен обучения в Полоцкой иезуитской коллегии и семинарии при Виленском университете Антоний сохранял известную открытость к общению с католиками; ему не были свойственны конфессиональный изоляционизм, ощущение непреодолимой чуждости католического духовенства в целом и каждого его представителя в частности [16. С. 45–57].

Неформальные контакты с католическим клиром в Минской губернии и легли в основу интересующей нас инициативы Антония в мае – июле 1840 г. В качестве епископа Минского и Бобруйского он доносил обер-прокурору Синода графу Н.А. Протасову о новых тенденциях в настроениях местных католиков: “Я твердо уверен, что если бы было разрешено принять римскую церковь нашего края *в соединение с Православною* (курсив наш. – Авт.), с оставлением обрядов римской церкви, не противных православию, все бы духовенство сей церкви, постепенно, начиная от старших, согласилось бы на таковое соединение”. Он излагал содержание своих бесед с влиятельными католическими священниками в Минске и с гордостью сообщал, что один сельский ксендз даже встречал его, православного архиерея, “в своем костеле с колокольным звоном и в церковном облачении” [5. Ф. 797. Оп. 87. Д. 25. Л. 1–1 об.]

Вот какую последовательность шагов в обозначившемся, как ему мнилось, направлении намечал Антоний: в первую очередь, подчинение католической церкви Святейшему Синоду, затем “исключение из символа веры *filioque*”, введение причащения мирян не только телом, но и кровью Христовой, “с оставлением латинского языка и прочих теперешних их обрядов, а после, со временем, когда посредством воспитания переменится общий здешнего края образ мыслей – и введение всей православной внешности” [5. Ф. 797. Оп. 87. Д. 25. Л. 8].

Отличие от схемы, опробованной ранее в отношении униатской церкви, едва ли было случайным. Во-первых, успех этого предприятия Антоний связывал с более или менее одновременным вступлением в унию⁵ с православием

⁵ В отличие от проекта 1865–1866 гг., о котором пойдет речь ниже, Антоний не использовал в 1840 г. термин “уния” для обозначения переходного состояния римско-католической церкви, подчиненной Синоду (и уклонялся от разрешения противоречия, вытекающего из сохранения за ней наименования “*римско-католическая*”). То, что имелась в виду именно унионная форма, видно из текста “расписки”, которую под нажимом Антония дал в июне 1840 г. прелат И. Домбровский, рекомендуемый Антонием на должность минского католического епископа: “Убежденный в Православии Греко-Российской церкви и искренно желая, дабы все подданные Великого Царя Русского составляя одну Церковь, единым сердцем стремились и к вечному Спасению и Блугу Русского Государства, объявляю сим, что я готов в свое время, когда сие потребуется Правительством, присоединиться к Православной Греко-Российской Церкви и содействовать к таковому соединению прочих, с тем чтобы мне и Римско-католическому духовенству, соединенному с Греко-Российскою Церковью, дозволено было употреблять в богослужении латинский язык и соблюдать непротивные Православию обряды и обыкновения Римской церкви; а также дабы были оставлены теперешние иерархический местный порядок с подчинением оного верховной духовной власти Св[ятейшего] Синода и одеяние церковное и домашнее” [5. Ф. 797. Оп. 87. Д. 25. Л. 4]

высших слоев католического населения, и прежде всего духовенства. Удостоверением же смены конфессионального статуса людей из элиты должно было стать не молчаливое принятие новых обрядов (удел простонародья), а демонстрация сознательного пересмотра вероисповедной приверженности. Во-вторых, здесь сказалось не лишнее оснований представление, что католики, будь то знать или простолюдины, вообще глубже укоренены в своей вере (конфессионализированы), чем униаты, и что их трудно перетянуть в новую веру, экспериментируя с одной лишь обрядностью и одновременно замалчивая проблему догматов. Такое представление косвенно проявилось в попытке Антония отсрочить под свою ответственность исполнение важного распоряжения Синода: приступить к “возвращению” в православие так называемых “латинизантов”, т.е. униатов, нелегально в свое время перешедших в католичество, и их потомства. Таких было немало, и Антоний полагал, что воздействовать на них религиозным увещанием и внушением в каждом населенном пункте по отдельности будет очень хлопотным и беспокойным делом. Ему не откажешь в дальновидности: спустя два года, согласно утвержденным Николаем I правилам от апреля 1842 г., к “разбору” оспариваемой паствы приступили особые комиссии из духовенства обоих исповеданий. Их деятельность продлилась целых пятнадцать лет, во многих случаях приведя лишь к номинальному перечислению в православие лиц, не переставших после этого считать себя и своих детей католиками [17. Ф. 378. ВС. 1865 г. Д. 1651]. Предотвращение таких конфликтов и было, по мысли Антония, одной из целей унионной формы “присоединения”.

Так как решающая роль в унионном движении отводилась высшим сословиям, то упор в проекте делался на политическую мотивацию смены конфессии. Антоний отдавал себе отчет в том, что отказ от *filioque* и исполнение других названных экклезиологических требований не будут результатом внутреннего духовного выбора. В некотором смысле, вступление в унию предлагалось местной шляхте как способ доказать свою лояльность династии Романовых. Антоний указывал на то, что “большинство” помещиков “желает устранить все то, что может возродить подозрение правительства на счет их неблагонамеренности политической. Нельзя ожидать от них усердия великороссийского, но благоразумие заставляет их мириться; и фанатизм не мешает благоразумию”. Католики, по его словам, “могут надеяться, что религиозным соединением прекратятся подозрения Правительства насчет их мятежничества, столько им наскучившего”. Насколько меньшее значение придавалось отношению простонародья к этому делу, можно заключить из того, что Антоний видел в крепостной зависимости крестьян, их покорности душевладельцам удобный инструмент для ускорения унионного процесса. Так, например, он утверждал, что стоит “предоставить самим помещикам возвращать латинизантов (из числа их крепостных. — *Авт.*). На что многие помещики объявили желание, и предводители дворянства обещали содействовать” [5. Ф. 797. Оп. 87. Д. 25. Л. 1–2]. Очевидно, что данная модель унии католической церкви с православием не акцентировала “исконную” русскость местного крестьянства и избегала националистической трактовки взаимоотношений крестьян и помещиков католического исповедания.

Об инициативе Антония было доложено Николаю I, и тот не дал ей хода. “Любопытно и очень важно; но преждевременно, хранить в тайне до времени”, — гласит его резолюция [5. Ф. 797. Оп. 87. Д. 25. Л. 3]. Проект так и остался “в тайне”. В сдержанной реакции императора не было ничего удивительного. Католичество в своих обрядовых проявлениях не внушало ему симпатию, но, исходя из представления о сходстве иерархической организации двух церквей, Николай во-

все не считал его несовместимым с имперским строем [18. С. 81–82]. Кроме того, в те годы он искал путей нормализации отношений Российской империи со Святым престолом (с которым позднее, в 1847 г., заключил конкордат). Занимавший его тогда же план бракосочетания дочери, великой княжны Ольги, с одним из Габсбургов также подразумевал перспективу сближения с легитимистской католической Европой [1. С. 277–278; 19. С. 134–135; 20. С. 219]. На этом фоне шансы на успешное подчинение католической церкви, сулимые провинциальным архиереем, да еще вчерашним униатом, без ведома властей начавшим в своей минской глуши сбор с ксендзов и помещиков каких-то “секретных подписок” о присоединении, выглядели особенно несоразмерными очень вероятному риску обострения конфликта с католиками в европейском масштабе.

Освобождение крестьян в 1861 г. и подавление Январского восстания существенно изменили общественно-политическую ситуацию в Западном крае. Имперская политика в отношении этой стратегически важной окраины смыкается (хотя, конечно же, не сливается) с реализацией проекта русского национализма, осмысляемого в терминах “опоры” власти на “почву”, на возрожденную к новой жизни “народную массу”. Многие представители имперской элиты, в особенности администраторы западной окраины, начинают воспринимать католицизм не столько как иерархически организованную церковь, сколько как враждебную политическую силу, обращенную в первую очередь против “народа” – фундамента русской нации. В любых, сколь угодно традиционных манифестациях католической религиозности усматривается польский вызов русскому господству в этих землях. И в бюрократии и в обществе громко заявляют о себе различные антикатолические фобии, получающие теперь санкцию национальной идеи.

Региональным центром политики “русского дела” была Вильна – “столица” генерал-губернаторства, охватывавшего в 1863–1868 гг. шесть губерний (так называемый Северо-Западный край). Одним из важнейших инструментов массовой русификации стала конфессиональная политика. При генерал-губернаторе М.Н. Муравьеве началась, а при его преемнике К.П. фон Кауфмане заметно усилилась деятельность администрации по переводу сельского простонародья католической веры в православие. В этих-то обстоятельствах православные иерархи из бывших униатов решили выступить с самостоятельной инициативой. В октябре 1864 г. преемник Антония на Минской кафедре и его близкий друг архиепископ Михаил (Голубович) подал генерал-губернатору Муравьеву записку с предложением учредить в Минске аналог религиозного братства – «миссионерское общество под названием “Религиозно-политическое Общество для распространения Православия”». Записка в общих чертах намечала программу просветительской и вероучительной деятельности людей “честных, благонамеренных, всех званий и обоего пола”. В частности, они должны были “открыто проповедовать преимущество Православия пред латинством” и образцово исполнять церковные обряды “в пример меньшей братии, для которых эти обряды суть почти единственным источником религиозных чувств”. Имперская администрация настороженно относилась к движению религиозных братств, возникшему в начале 1860-х годов в среде православного духовенства Западного края [21. С. 333–334, 362–369], поэтому неудивительно, что у Муравьева начинание Михаила не нашло поддержки. Более того, старший соратник Михаила по “воссоединению” униатов, а теперь его начальник в церковной иерархии митрополит Иосиф дал отрицательный отзыв на проект, указав, что “без твердых оснований и верных средств подобное общество... скорее принесло бы вред, нежели пользу” [17. Ф. 378. В.С. 1864 г. Д. 1725. Л. 15–19 об.; 7. Р. 258–262].

Антоний же был прямо противоположного мнения. К 1864 г. он уже более пятнадцати лет состоял “на покое”, но продолжал много читать, увлеченно, хотя и по-любительски, занимался писательством и вообще не терял связей с минским обществом, сохраняя за собой репутацию почтенного архиерея. Немедленно по получении отзыва Иосифа, в середине ноября 1864 г., Антоний представил Муравьеву пространное, написанное в доверительном тоне послание, из которого можно предположить, что он-то и подал Михаилу эту идею, решив до поры до времени действовать при посредстве правящего архиерея.

“Я веровал и верую в возможность уничтожить у нас и римский католицизм (подобно униатской церкви. – *Авт.*) мирно, без пролития крови...” – с такого заявления начиналось письмо [17. Ф. 378. BS. 1864 г. Д. 1461. Л. 3 об.; 22. С. 8–20]. Антоний ссылался на ситуацию двадцатипятилетней давности, благоприятствовавшую “присоединению” католиков: “... После воссоединения к православию унитов многие ксендзы Минской губернии ... надеялись, что их пригласят если не к православию, то к унии с православием... [Но] правительство, запуганное панами, прикидывавшимися доброжелателями России, отрясало руки от дальнейших подвигов... Правительство струсило пригласить к воссоединению унитов Царства Польского, хотя они ожидали такого приглашения” [17. Ф. 378. BS. 1864 г. Д. 1461. Л. 3]. Ретроспективный упрек правительству Николая I в “трусости” передавал убеждение автора в том, что новая эпоха открывает куда большие возможности для решительных действий в отношении католической церкви.

Предлагавшийся в данной записке путь не совпадал с проектом 1840 г., почему Антоний и обошел молчанием свою тогдашнюю роль инициатора сбора “подписок”. Он ходатайствовал об учреждении в Минске под покровительством Муравьева “Патриотического миссионерского общества”, которое развило бы широкую деятельность по массовому обращению непосредственно в православие крестьянского населения католической веры: “... Теперь, – подчеркивал архиепископ, – удобнее действовать на низший класс римско-католических прихожан, нежели на римско-католическое духовенство”. Записка Антония помогает уяснить внутреннюю логику той псевдомиссионерской кампании, которая в те самые месяцы, благодаря усилиям прежде всего светских, а не духовных лиц – военно-уездных начальников, мировых посредников, жандармских унтер-офицеров и др., развертывалась в Виленской, Гродненской, Минской губерниях.

Антоний описывал переход в другую конфессию как результат умелого форсирования бюрократией секулярных, вполне материальных побуждений крестьянства. Перемена конфессии крестьянской массы представляла своего рода пробным камнем для государства, модернизирующего в эпоху национализма саму практику управления сельским населением и требующего от своих агентов более глубокого проникновения и прямого, в том числе словесного, контакта с дотоле замкнутым сельским миром. Переход в православие составлял тему для того “собеседования” чиновников с крестьянами, в ходе которого первые могли получить столь важное для современного государства подтверждение способности понимать “народ” и быть им понятым: “Крестьяне, побуждаемые живою благодарностью за освобождение их от крепостной зависимости, охотно бы присоединялись к православию, если б узнали, что этого, для их же блага, желают Государь и батька Муравьев. Если б об этом сказали им православные священники, они бы подумали, что священники... только желают умножения своих прихожан. Но они поверили бы, если б сказал им высший чиновник вроде Стороженьки вместе с мировым посредником, и соглашались бы быть православными после откровенного объявления и объяснения” [17. Ф. 378. BS. 1864 г.

Д. 1461. Л. 4, 8 об.]. Чиновник по особым поручениям при виленском генерал-губернаторе А.П. Стороженко (в недавнем прошлом корреспондент украинофильского журнала “Основа”) действительно в скором времени стал активным организатором обращений: по всей видимости, Антоний консультировался с ним при составлении записки.

В доводах Антония особенно примечательно то, что церковный иерарх проявлял, в сущности, равнодушие к собственно религиозному аспекту обращений – причем именно в ту пору, когда в российском законодательстве постепенно утверждалось представление о важности осознанного, индивидуального выбора при переходе в православие и недопустимости каких-либо материальных побуждений к нему, столь часто практиковавшихся в XVIII – первой половине XIX в. [23]. Характерно использованное в записке сравнение: “Лишь бы одна волость удачно была присоединена к православию, соседние волости легко бы последовали, как овцы за стадом”.

Антоний намечал целую программу материального поощрения новообращенных, включая денежные пособия, наделение землей и т.д. [17. Ф. 378. ВВ. 1864 г. Д. 1461. Л. 9 об., 10–11], которая весьма напоминала методы конфессиональной политики в отношении, например, язычников Поволжья в предшествующую эпоху [24. Р. 183–196, 223–235]. В этом архиепископ вполне сходился со светскими устроителями обращений в Виленской администрации, подкрепляя их действия своим пастырским авторитетом. С данной точки зрения, переход из католичества в православие был важен не столько как смена конфессии, сколько как выражение солидарности с властью.

Несмотря на такую апологию “прямых” обращений, в письме упоминается и о возможности перехода в православие через унию. Антоний приписывает эту идею, высказанную им самим в 1840 г., минскому ксендзу Заусцинскому, которого рекомендует Муравьеву как “расположенного действовать в русском духе”. Сообщая, что “Заусцинского та мысль, [чтобы] стараться отделить наших [римско-]католиков от папы и чтобы такая римская церковь была в единоверии с православием, с тем чтобы после совсем слилась с ним”, Антоний оговаривался: “Все это в будущей дали: а теперь благоприятствуют обстоятельства действовать на основание, оставив в покое верхи ...” [17. Ф. 378. ВВ. 1864 г. Д. 1461. Л. 6]⁶. Раз Антоний считал нужным обозначить эту перспективу, видимо, “прямые” обращения в православие с самого начала не представлялись ему безальтернативным способом перемены конфессиональной принадлежности населения.

Аргументация Антония не произвела впечатления на митрополита Иосифа, которому Муравьев передал и это письмо на заключение. Иосиф по-преж-

⁶ О взглядах Заусцинского нам известно немного. Позднее, в 1866 г., он был приглашен экспертом в Ревизионную комиссию по делам римско-католического духовенства при Виленском генерал-губернаторе. В поданной в Комиссию записке он высказывался за введение русского языка в дополнительное католическое богослужение (оставить польский, писал он, “значит русскую духовную силу ставить слабее польской, значит, русская гражданственность, русская цивилизация стоят ниже польской, а этого никто из современных мыслителей не допускает”) и, указывая на новые, антипапистские веяния в “заграничном католицизме”, выражал убеждение в возможности скорого объединения всех христианских церквей: “Дайте несколько лет времени, и мы на деле увидим ту великую идею соединения церквей, которая в настоящее время так удачно проводится и обсуживается православным духовенством сообща с англиканским” [5. Ф. 821. Оп. 150. Д. 584. Л. 161–164]. Однако о куда более скромном по масштабу “соединении” – унии православной и католической церквей в Западном крае Заусцинский ничего в записке не говорит.

нему не видел “твердых оснований” для деятельности “Патриотического миссионерского общества” [17. Ф. 378. ВС. 1864 г Д. 1461. Л. 2]. Тем не менее, кампания обращений в православие в Северо-Западном крае продолжала развиваться по сценарию, выразительно описанному Антонием.

В 1865 г. произвол и злоупотребления низовых администраторов, чьими силами велась кампания “прямых” обращений (см., например, [25. Р. 123]), стали очевидны даже горячим сторонникам “русского дела”. Не все из них сделали вывод о необходимости скорректировать избранный курс. Но участники обсуждения и составители записки “Как выйти из ненормального положения в западных губерниях”, которую И.М. Мартынов спустя восемь лет и назовет “новым планом упразднения римской церкви в России”, ратовали за такой пересмотр.

Прежде чем приступить непосредственно к анализу записки, сделаем несколько источниковедческих замечаний. Записка известна нам в двух недатированных и неподписанных копиях, написанных писарским почерком и сохранившихся в архивных фондах III Отделения и Департамента духовных дел иностранных исповеданий (ДДДИИ) МВД [26. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2. Д. 707. Л. 3–67; 5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 18–70]. На начальном листе второй из копий, отложившейся в деле под названием “Отдельные записки по римско-католическим делам”, имеются пометы, сделанные неписарской рукой: “Мысли архиепископа Антония Зубко” и ниже – “Уния католиков с православием” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 18]. Атрибутировать пометы по почерку затруднительно. Копия из архива III Отделения сохранилась вместе с сопроводительным письмом шефу жандармов князю В.А. Долгорукову от начальника 4-го округа корпуса жандармов (центр – Минск) генерала А.А. Куцинского [26. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2. Д. 707. Л. 1–2]. Это письмо, датированное 12 октября 1865 г., дает надежное основание отнести записку к лету – началу осени 1865 г. (дата поступления копии записки в МВД неизвестна), но не раскрывает никаких имен.

К вопросу об атрибуции записки мы вернемся ниже. Пока же отметим, во-первых, что он не исчерпывается процитированной выше пометой об Антонии, во-вторых, что хотя текст написан от лица индивида (ссылающегося, например, на разные случаи из своей жизни), мы в дальнейшем будем трактовать изложенный в записке проект как продукт коллективного творчества, допуская при этом, что самый текст действительно мог быть сочинен индивидуально одним из участников обсуждения. Сразу оговоримся, что у нас нет данных, которые бы позволили *текстологически* реконструировать процесс подготовки записки, так что на этот счет мы будем вынуждены ограничиться отдельными наблюдениями.

Отправной точкой проекта, изложенного в записке, был тезис о несовместимости сохранения римско-католической церкви с мирным развитием и деполонизацией Западного края. Каждый католик, будь то шляхтич или крестьянин, рассматривался как потенциальный мятежник, сепаратист. Вопреки официальному постулату о “природной” приверженности крестьянства престолу, записка подчеркивала, что национальное самосознание крестьян-католиков далеко еще не сформировалось: “... Мы скажем без обиняков: все католическое крестьянское население еще далеко не русское ... Оно не польское, но, повторяем, далеко не русское. Грубое и невежественное, много веков угнетаемое, битое, оно не могло под гнетом выработать силу гражданского духа, оно ... только присмат-

ривается к мероприятиям правительства, ожидая от него почти неосуществимых благ”. Хотя враждебность только что освобожденных крестьян к своим бывшим панам не ставилась под сомнение, записка предостерегала от переоценки прочности и необратимости этих чувств. Римско-католическая церковь оставалась объединяющей силой, более динамичной, чем новое аграрное законодательство, так что в случае активной деятельности ксендзов “через каких-нибудь 10–20 лет католический крестьянин наш едва ли не больше теперешнего будет ополченным” и окажется в союзе с помещиком-поляком [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 20–20 об., 22–23].

Обсуждая разные способы вытеснения католицизма из края, творцы проекта ясно давали понять, что кампания обращений отдельных католических приходов или их частей в православие (по терминологии записки, “обращение прямо в православие”) чревата опасными последствиями, обострением религиозных распрей. В этом пункте записка резко расходилась с оптимистическими прогнозами Антония в 1864 г. Применение властью насилия играло на руку католикам и уж никак не прибавляло привлекательности православной церкви: “Нелегко перевести прямо в православие более 2 млн населения ... Положим, перейдет при больших усилиях и не без нравственного принуждения 20, 30, даже 100 тысяч, но из них, поверьте, едва ли треть, даже менее трети передаст своему потомству неискаженное православие, а прочие будут состоять на списках православных, будут даже ходить в церковь, но в душе останутся католиками, отвратят детей своих от православия и еще легче, еще удобнее сами будут тайными адептами папы...”.

Иными словами, католицизм, теснимый такими опрометчивыми мерами, лишь усиливал “непрозрачность” общества, скрывая от глаз властей реальную конфессиональную принадлежность подданных под личиной номинального, внешнего статуса. Авторы утверждали, что насколько римско-католическая церковь будет становиться слабее “наружно, настолько сильнее будет внутренняя сторона”: какой бы ни была саморепрезентация католичества, пышной ли, убогой, она всегда обманчива [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 46, 38].

Такая логика подводила к заключению о необходимости институционального преобразования римско-католической церкви. В соответствии с уже знакомой нам по текстам Антония схемой, авторы отказывались от собственно вероисповедных претензий к католичеству: “Сущность католической церкви та же, что и православной, разницы маловажны, а время и то бы сгладило, сравняло. Вредна идея папства, вредно отчуждение, самоуправие, вредно то, что, опровергая человеческие законы, латинство искажает божеские ...”. В более конкретных терминах, порядок епископального управления, установленный конкордатом 1847 г., объявлялся несогласным с реформаторской повесткой дня: “И не странно ли в самом деле, что в благоустроенном государстве, где все отрасли администрации преобразуются, где все подлежит контролю и суду гласности, одни только епископы со своими консисториями остаются средневековыми деспотическими учреждениями, не подлежа никакому контролю” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 45, 43]. В сущности, подразумевалось, что быть послушным местному католическому клиру равнозначно неприятию благодетельных реформ, даруемых престолом.

В противоположность предполагаемой архаичности структур римско-католической церкви, проектируемое движение в пользу унии с православием наделялось чертами феномена, относящегося к реформаторской эпохе. Оно

должно было стать результатом общественной, всесословной инициативы и самодеятельности и продемонстрировать не только лояльность престолу, но и гражданскую зрелость местного общества: “Уния должна воспоследовать в силу народного желания, заявленного перед правительством. Правительство не может отвергнуть подобного желания, когда оно будет заявлено как отречение от прошлого и ручательство за будущее, когда оно будет повергнуто не только светскими, но и духовными” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 48].

Сама инициатива, впрочем, должна была исходить от лишь нескольких благонадежных католиков и постепенно охватывать более широкий круг. Авторы проекта видели тому ряд прецедентов в истории этого края: по их мнению, все конфессиональные метаморфозы на этой территории, начиная с Реформации, вызывались “политическими” по своей сути идеями, за которыми стояли энергичные и предприимчивые лидеры. Именно такую трактовку получала в записке Брестская уния 1595–1596 г.: “Православные почти 200 лет отстаивали свою веру, а когда последняя надежда слияния с Восточною Русью исчезла, когда исторические судьбы связали их с поляками, те же православные перешли в унию или в католичество”, а уж их потомки стали врагами православия и русской народности. “Трудно же допустить, что во всем этом играли роль одни религиозные убеждения? ... Перемена веры ... может быть прочна, когда совершается сильным возбуждением политических страстей, да и то прочность эта приобретает в последующих поколениях ...” – заключали авторы, и тезис этот являлся стержневым для всего проекта.

Как и в плане Антония 1840 г., реальное, осознанное участие в унионном процессе отводилось дворянству и приходскому духовенству. В этой среде следовало начать негласный сбор соответствующих “заявлений” (их содержания мы коснемся чуть ниже). В записке открыто признавалось, что ближайшие мотивы подписания заявлений шляхтичами и ксендзами не могут быть иными кроме как политическими или социальными, даже карьеристскими. “Дворянское сословие в наших губерниях – это истлевающий труп. Оно пережило себя, свои заветы, предания ... [После отмены крепостного права дворяне] вполне сознают свое безвыходное положение. Все обмануло, все изменило им – и они это знают, знают, что им остается только пресмыкаться. А жить хочется, и они рады бы купить эту жизнь очень дорого. Они готовы на многие, самые уничтожительные жертвы” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 28–28 об., 39 об., 25 об.] Ксендзов должно было пронять предостережение, что не подписавшие заявлений в перспективе будут высланы из края в Царство Польское, а то и вовсе за границу. Одновременно срабатывала бы неудержимая, как считалось, в служителях алтаря тяга к мирским благам: “Первая, вторая подпись ксендзов – это подвиг. Далее, когда духовное начальство будет изменено и когда вновь назначенные сами станут поощрять к этому, когда не подписавший заявления не может получить никакого места и когда увидят, что подписавшиеся получают награды, лучшие приходы, должности благочинных и т.д., когда перед глазами каждого более усердного блеснет в будущем митра, ордена, деньги, многие устоят против искушений”. Дальше состав подписавших увеличивался бы в геометрической прогрессии: “... Коль скоро в епархии соберется 100 подписей, чрез месяц будет уже 1000 и т.д. Коль скоро в приходе будет священник, подписавший заявление, крестьяне все за ним последуют, а тогда подписей явится сотни тысяч” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 54–55].

Нарисованная авторами проекта картина не имеет ничего общего с персоналистским представлением о смене (или шаге к смене) конфессии как выстраданном мировоззренческом выборе. Однако они отчасти предупредили упреки в цинизме и беспринципности, подчеркнув, что проектируют секулярную по своему характеру и движущим факторам кампанию. Ее мотором и должны были вполне закономерно стать гражданские, мирские, даже меркантильные интересы. В понимании творцов проекта, вероятность естественного духовного укоренения в новой вере существовала, но в отношении будущих поколений.

Для наличного же поколения унионный процесс имел прежде всего гражданское значение. Сама процедура сбора и подачи заявлений неизбежно потребовала бы на местном уровне интенсивных контактов, встреч, бесед, споров и, может быть, это-то больше всего и встревожило бы правительство, дойди проект до стадии реализации. Сбор подписей, несмотря на сильный элемент морального принуждения, чтобы не сказать шантажа, имел шанс задействовать механизмы гражданской мобилизации, внушить участникам чувство коллективной принадлежности к лояльной, но не поглощаемой администрацией общественной группе: “От подписи подобного рода заявления, разумеется предлагаемого вне всякого правительственного участия, частным образом, доверенными лицами, отказываться трудно... В этих заявлениях не нарушаются основные догматы церкви, наконец изливание верноподданнической преданности и любви к действительному отечеству есть прямой долг гражданина”.

В записке была предусмотрена приблизительная форма заявления. Действительно, в отличие от подписок, которые начинал собирать Антоний в 1840 г., в ней не было речи ни о догматике, ни об обрядности: “Первоначальное отречение должно быть составлено так, чтобы подписывающему не бросалось резко в глаза, не отталкивало”. Рекомендовалось не употреблять на первых порах самого термина “уния”, имевшего отчетливое религиозное звучание. Даже о власти папы подписывавшим не предлагалось высказаться безусловно негативно [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 52–53, 49 об.]. Примерный текст заявления гласил, что, “оставаясь верными основным догматам римско-католической церкви, [подписывающие] отвергают всякую солидарность ее с политическими польскими стремлениями, признают в папе начальника церкви, но не признают законности никакого вмешательства его в церковные дела этого исповедания в России и при том желают, чтобы римско-католическая церковь в Империи именовалась впредь Российскойю Кафолическою церковью, непосредственно подчиненною духовной коллегии и властям, Высочайшею волею установленным”. Заявление завершалось ходатайством о созыве “особого временного совета из духовных лиц, подписавших подобные настоящему заявления, с участием светских депутатов, избранных обществом и одобренных правительством”. Совету предстояло обсудить и подготовить коренную реформу католической церкви на территории Российской империи, за исключением Царства Польского, где сохранялась бы духовная юрисдикция Ватикана [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 50 об.–51].

Собрав не менее полумиллиона подписей, организаторы кампании должны были представить их императору. Высочайший манифест, разрешающий созыв в Петербурге этого экстраординарного совета, торжественно зачитывался бы во всех костелах, что поставило бы папу римского в необходимость рас-

торгнуть в одностороннем порядке конкордат – так что ответственность за полный разрыв со Святым престолом не ложилась бы на российское правительство. “Отречение” от папства, завуалированное в тексте первоначальных заявлений, теперь совершалось само собой. Совет составлялся из пятидесяти выборных членов-католиков – лиц духовных, избираемых капитулами, и светских, “по одному от каждого сословия, т.е. дворян, городских и сельских обывателей из каждой губернии”. В совете также заседали бы депутаты от правительства (их число не оговорено), а для посредничества между правительством и советом назначался обер-прокурор. При обсуждении дел, связанных с православной церковью (а число таких с течением времени все возрастало бы), должны были присутствовать представители Святейшего Синода.

Предполагалось, что Совет будет собираться каждые три года. В первую очередь он должен изыскать возможность поставить без всякого участия папы новых, лояльных властям епископов на каждую епархию. Намечалось на первое время наделить правом посвящения епископов “собрание старших священников из прелатов” или даже православных архиереев [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 55 об.–56]. Затем Совету предстояло “определить отношения Кафолической Российской церкви к Православной, присвоив название унии” (сам термин “уния” впервые оглашался бы только на этой стадии унионного процесса) и установить круг полномочий нового коллегиального органа, аналогичного православному Синоду, – “Духовной Кафолической Российской коллегии”, под председательством митрополита и под светским контролем обер-прокурора. В дальнейшем именно за коллегией закреплялись полномочия избрания кандидатов на должность митрополита и епископов, с окончательным утверждением самим императором.

На втором совете намечалось уже осуществление унии на практике, в приходской жизни, т.е. на территории империи не осталось бы “ни одной латинской церкви и ни одного ксендза, остающегося верным папе”, за исключением единственного костела в Петербурге для иностранных подданных. А на третьем или четвертом совете “может порешиться дело совершенно, и воследовать окончательное слияние церквей”. Итак, по прошествии примерно десяти лет могло бы совершиться слияние православной и новоучрежденной “Российской Кафолической” церковью “в одну Всероссийскую Кафолическо-Православную” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 57–59 об., 66–67, 47].

Делая столь обнадеживающий прогноз, авторы проекта хорошо отдавали себе отчет в том, что формирование новой конфессиональной идентичности бывших католиков потребует больших усилий. Совету надлежало действовать так, чтобы вновь вводимые нормы “не слишком резко нарушали сначала основные догматы церкви, без колебания в народе доверия к новым порядкам...”. Подготовка условий для “слияния” церковей описывалась как преодоление межконфессиональной враждебности на уровне повседневных обрядовых привычек, как постепенное размывание наиболее резких различительных конфессиональных признаков. Именно в связи с этой задачей записка настоятельно предостерегала от административного вмешательства в религиозную сферу, от “красных (революционных. – *Авт.*) и крайних резких порывов в один миг все пересоздать, все старое разрушить”. Предполагалось разрешить “духовенству обеих церковей совершать совместно крестные ходы и другие богослужения в особо торжественные дни”, а затем, когда будут готовы обязательные к употреблению русские переводы не только польского, но и

латинского богослужения, даже допустить, чтобы “православные священники могли совершать богослужение в костелах, а ксендзы в церквах” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 57 об., 60–60 об.].

Особая роль в преодолении конфессионального партикуляризма отводилась религиозным братствам, организуемым на новых началах, “основанным в духе евангельской любви”: “Братства имеют основную цель сближение, единение православных с кафоликами ... Прошлое должно быть забыто навсегда обеими сторонами, а вся забота, чтобы в настоящем был мир, любовь и взаимное уважение, чтобы все стремились к одной цели: сделать жителей этого края верными долгу русскими гражданами”. Показательно, что моноконфессиональные по составу братства, как “кафолические”, так и православные, признавались помехой “единению двух церквей”: первые предполагалось запретить безусловно, а вторые – не поощрять. Во главе смешанных братств стояли бы православный священник и ксендз, тогда как общее руководство движением братств осуществлялось бы “епархиальными начальниками обеих церквей” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 62, 63, 65 об.]. Хотя и вскользь, но недвусмысленно делалась оговорка о желательности допущения в братства “и лиц всех вообще христианских вероисповеданий” – отзвук объединительных устремлений, которым, по всей видимости, составители (или хотя бы один из составителей) проекта симпатизировали.

Идея компромисса, взаимной уступки подразумевалась, как кажется, и довольно неожиданно на первый взгляд выбором термина, выше уже несколько раз цитированного, – “Российская Кафолическая церковь”. С точки зрения православного вероучения, наименование “кафолическая” могло быть безусловно применено только к церкви вселенской (в смысле универсальности, единственно возможной верности Истине), каковой католицизм, несмотря на многочисленность его паствы, отнюдь не признавался православными. Этот термин был одним из предметов экклезиологической полемики славянофилов, особенно А.С. Хомякова, с русским католиком И.С. Гагариным [27. С. 114–118; 28. С. 312–330]. Более того, некоторые публицисты использовали оппозицию “кафолическая (православная) – католическая (римско-католическая)” для усиления тезиса об утрате “латинством” подлинно религиозного духа (сходство словоформ, несовпадение в одной лишь букве как бы оттеняли декларируемую внутреннюю противоположность обозначаемых ими реалий) [29]. В нашем же случае “кафолической” величается едва только выведенная из подчинения римскому папе и пока сохраняющая “латинскую” обрядность церковь, к тому же еще и замкнутая в известных административно-территориальных границах, что противоречит смыслу термина. Можно предположить, что присвоение такого названия предполагало своего рода примирительный жест, знак доверия к способности бывшей “латинской” церкви слиться в России с церковью православной⁷. В амбивалентном термине “кафолическая” одно значение – “бывшая римско-католическая” – по мере развития унионной кампании вытеснялось бы другим – “всеобщая”, “объединенная”.

Наконец, следует обратить внимание и на то, что проект 1865 г., строго говоря, не предreshал со всей точностью форму и условия окончательного “сли-

⁷ Малая вероятность того, что термин “кафолическая” был употреблен в данном случае по инициативе лица православного исповедания, служит косвенным доказательством участия католика (католиков) в подготовке проекта. О проблеме авторства см. ниже.

яния” двух церквей. Открыто заявленный пункт о переводе богослужения на русский язык (из проекта неясно, имелся ли в виду современный русский или церковнославянский) вроде бы позволяет предположить, что параллельно этой делатинизации и деполонизации должна была подвергнуться полному оправославлению догматика и обрядность бывших римских католиков. Не вызывает сомнения, что господствующее положение в унии признавалось за православной церковью. Но в то же время конечная цель унионного процесса описывалась в довольно общих терминах: “теснейшее сближение для совершенного со временем слияния с православною церковью, уяснения и устранения тех разностей, кои ныне служат разделом церквей” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 60]. Такая формулировка, в принципе, не исключала сохранения хотя бы некоторых элементов прежней католической обрядности или даже заимствования их православными, пусть даже только на территории западных губерний. В проекте – в отличие от плана Антония 1840 г. – ничего не сказано и о немедленной перемене католического чина причащения⁸.

Проблема авторства записки требует специального рассмотрения. Помимо пометы на копии из архива ДДДИИ, имеются и другие указания современников на причастность архиепископа Антония. Совпадение общего замысла унионной структуры в этом проекте и плане Антония 1840 г. достаточно красноречиво. В своем “Письме римско-католическому духовному”, датированном 1864 г., архиепископ отмечал важность общественной инициативы в среде образованного католического населения: “[Католикам Западного края необходимо] тесно соединиться с восточным православием... Как приступить к столь важному делу и развивать деятельность, обсуждение этого вопроса принадлежит самим римско-католикам” [17. Ф. 378. ВС. 1864 г. Д. 1461. Л. 32 об.–33]⁹. Как мы видели, записка 1865 г. как раз и очертила контуры такой деятельности.

Однако Антоний был не единственным составителем проекта и почти наверняка не работал непосредственно над текстом записки¹⁰. Одним из его единомышленников был предводитель дворянства Минской губернии Евстафий Прушинский. Он был одним из немногих местных дворян католического исповедания, кто пользовался доверием Виленской администрации. В 1863 г. он даже составил на польском языке открытое письмо к местному дворянству (“Wyznanie mojej politycznej wiary”), в котором призывал отказаться от мечты о Великой Польше, от притязаний на восточные “кресы” и довольствоваться надеждой на возможность создания в будущем на территории Царства Поль-

⁸ Между тем при организации в те самые годы обращений католиков в западных губерниях именно причащение по православному обряду рассматривалось властями как вернейшее средство утверждения “присоединившихся”, особенно из простонародья, в православной вере: различие с католицизмом манифестировалось в данном случае наиболее доходчиво и наглядно [26. Ф. 109. 1-я экспедиция. Оп. 39. Д. 82. Л. 6].

⁹ Непосредственным адресатом письма был епископ Минский Войткевич, с которым Антоний, как и за четверть века до того с его предшественником епископом Равой, вел диспуты о будущности католицизма. См. также: [30].

¹⁰ Независимо от приводимых ниже свидетельств об участии в проекте других лиц, следует заметить, что тексты, написанные Антонием собственноручно, не отличаются той уверенной публицистической манерой, чувством стиля, которые характерны для записки 1865 г., а иногда и грешат грамматическими ошибками. Не исключено, что Антоний даже не был ознакомлен с окончательной редакцией записки 1865 г. Едва ли православный иерарх, при всей неординарности своих воззрений, мог бы согласиться на использование – пусть и с благой целью – термина “кафолическая”, т.е. вселенская, для обозначения поместной церкви, еще сохраняющей латинские обряды.

ского номинально суверенного, но политически зависимого от России (и защищенного этой протекцией от германской угрозы) государства [17. Ф. 378. PS. 1869 г. Д. 246. Л. 12–15].

О том, что Прушинский высказывал также идею православно-католической унии, имеется немало свидетельств. Сам архиепископ Антоний еще в апреле 1865 г.¹¹ сообщал тогдашнему помощнику виленского генерал-губернатора А.Л. Потапову о предложении Прушинского “составить в западных губерниях независимую от Рима западно-католическую иерархию, как меру к постепенному сближению и слиянию здешних католиков с русским православием”. В апреле 1866 г. Антоний известил преемника Муравьева генерал-губернатора К.П. Кауфмана о том, что Прушинский предлагал свои услуги для того, чтобы “склонить всех ксендзов и самых богатых и влиятельных панов [Минской] губернии к намерению ходатайствовать у Правительства об учреждении Западно-Католической иерархии, независимой от Рима” [5. Ф. 1016. Оп. 1. Д. 985. Л. 1–4; 26. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2. Д. 712. Л. 1–6]. Архиепископ уважительно отзывался о предводителе дворянства, считая его влияние достаточным для инициирования этого движения. Между предложением Прушинского и обсуждаемым нами проектом есть примечательное сходство. И в том, и в другом случае осуществление проекта должно было начинаться со сбора подписей под общим заявлением (адресом) о готовности подчиниться независимой от папы церкви.

Зацепкой в дальнейшем поиске лиц, участвовавших в обсуждении и подготовке унионного проекта, является упоминание о важной роли Прушинского в письме журналиста Адама Гонория Киркора видному польскому писателю Ю. Крашевскому от мая 1873 г. [31. L. 530]. С 1840-х до середины 1860-х годов Киркор был, наверное, самым видным издателем и публицистом в Вильне, причем вполне лояльным власти; в исключительно сложный период – в 1860–1865 гг. – являлся редактором официальной газеты “Виленский вестник”, в 1868–1871 гг. вместе с Н. Юматовым издавал в Петербурге газету “Новое время”. Но затем Киркор должен был покинуть Российскую империю и обосновался в Кракове. Зарабатывать на жизнь ему приходилось переправкой французским властям через Крашевского секретной информации. Получал же ее Киркор из Петербурга от собственной жены Марии [32. S. 113–134].

Его стараниями текст записки “Как выйти из ненормального положения в западных губерниях” и попал во Францию, сперва к Крашевскому, а затем к И.М. Мартынову (опубликовавшему его французский перевод, как уже указывалось выше, в несколько сокращенной версии и с некоторыми разночтениями по сравнению с рукописной запиской 1865 г.). В 1873 г. Киркор сначала в одном письме пересказал проект об унии, вставляя некоторые цитаты на языке оригинала, а потом послал и сам проект¹² с просьбой не предавать эту ин-

¹¹Напомним, что всего пятью месяцами ранее Антоний выступал за “прямые” обращения в православие католических приходов по отдельности. Возможно, уже в апреле 1865 г. произвол, допускавшийся при таких обращениях местными властями, внушал ему тревогу и побуждал задумываться об альтернативном способе вытеснения римского католицизма.

¹²В хранящихся в Ягеллонской библиотеке письмах Киркора Крашевскому не обнаружен собственно текст проекта, об отсылке которого Киркор упоминает в одном из этих писем. Пересказ содержания проекта, помещенный в другом письме (июньском 1873 г.), соответствует публикации Мартынова, что подтверждает версию о материалах Киркора как первоисточнике публикации. Киркор сам указал, что он посылает сокращенный вариант: он опустил историческую аргументацию и фрагмент о братствах [31. L. 546]. В публикации Мартынова этих мест предсказуемо не обнаруживается.

формацию гласности. Но сообщения о проекте появились весьма быстро в польской печати, выходящей за пределами Российской империи. Сразу после этого Киркор сетовал в письме Крашевскому на то, что “Кауфман, Зубко, Стороженко, предводитель дворянства П[рушинский] и еще несколько заинтересованных лиц скоро поймут, откуда это идет, потому что другой возможности узнать об этом и иметь этот документ нет, а живет лицо это в Кракове” [31. Л. 538].

Крашевский легко мог догадаться, что на этот раз Киркор получил информацию не от жены, а поделился тем, что знал еще в свою бытность в Вильне. Уже одно это письмо ясно доказывает, что Киркор, по крайней мере, мог знать о подготовке этого проекта в середине 1860-х годов. Более того, письмо позволяет предположить, что и он был причастен к унионной инициативе.

Тому есть ряд доказательств. Одно из них содержится в упоминавшемся выше сопроводительном письме начальника 4-го округа корпуса жандармов А.А. Куцинского В.А. Долгорукову от 12 октября 1865 г. Куцинский недвусмысленно солидаризировался с изложенными в записке идеями и поддержал их своим авторитетом. Не исключено, что в Минске он входил в кружок лиц, в котором зародился план унии.¹³ “Хотя на первый взгляд, – писал он, – [предложения] и могут показаться трудными к осуществлению, но при более зрелом обсуждении и знании современного настроения общества оказываются не только удобоисполнительными, но и почти единственно возможными к действительному умиротворению края, ежели дело будет ведено с тайною, осторожностью и умением”. Из письма Куцинского мы узнаем о некоторых обстоятельствах подготовки записки: “Сущность настоящей записки во многом противоречит воззрениям и убеждениям местного управления, поэтому она решительно никому здесь неизвестна (кроме переписчика, секретаря округа, человека испытанной скромности)”. Согласно Куцинскому, у записки был индивидуальный автор, готовый принять на себя ответственность перед правительством. Генерал давал ему лестную характеристику, не раскрывая, однако, имени (по его же просьбе): “Автор записки известен мне более 15-ти лет, как человек разумный, вполне благонамеренный, а по положению своему и общественной деятельности имевший возможность глубоко изучить край и все классы здешнего населения” [26. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2. Д. 707. Л. 1–2].

Именно Киркор в середине XIX в. признавался одним из самых лучших, если не лучшим экспертом по истории, археологии и этнографии Северо-Западного края [33; 34]. Этот косвенный аргумент в пользу его причастности к проекту унии подкрепляется анализом специфической “литовской” темы, неоднократно – и всякий раз в связи с важными обстоятельствами – всплывающей в тексте записки. В той части, где представлены некоторые исторические размышления, обнаруживается четко выраженная литовская культурно-региональная идентичность автора соответствующих фрагментов, которая не была типична ни для польского, ни для русского дискурса того времени: “Напрасно думают, что между поляками Царства и литовцами* или лучше поляками в России – существует любовь и братство. Нисколько! Их соединяет только по-

¹³ Куцинский определенно не разделял русификаторского рвения местной администрации, в чем расходился с некоторыми из своих подчиненных. О его озабоченности проблемой насильственного перевода крестьян-католиков в православие (альтернативой чему и мыслилась уния) см., напр., относящееся к 1867 г. дело: [17. Ф. 378. BS. 1867 г. Д. 1207].

* Этот термин в данном случае не имеет этнического характера.

литическая идея, но в душе гнездится вековая, глубокая вражда, с особенною силою всегда проявлявшаяся преимущественно в Варшаве”. Мысль об отчуждении между поляками “Короны” и населением Литвы получает и такое оформление: “Поляки высокомерны и испокон века при каждом случае стараются с наглостью высказывать свое превосходство, что разумеется, возбуждает досаду и негодование у литовцев. Последние никогда не забывают, что и Собеский, и Костюшко, и Мицкевич и многие другие, коими гордится Польша, были не поляки, но русские и литовцы. Кто изучил этнографию обоих народов, тот ясно видит, как велика между ними разница в характере, способностях и вообще во внутреннем настроении” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 67–68].

В господствующем польском дискурсе того времени инакость польского дворянства в литовских и белорусских землях, или, иначе говоря, на территории бывшего Великого княжества Литовского (ВКЛ), не признавалась, и на историю и культуру ВКЛ, особенно эпохи после Люблинской унии (1569 г.), смотрели как на польскую. Кстати, и один из инициаторов обсуждаемого проекта Е. Прушинский видел в этом крае соревнование лишь двух субъектов исторического процесса – России и Польши, не признавая существования отдельного литовского фактора [17. Ф. 378. PS. 1869 г. Д. 246. Л. 12–15, 16–18].

А вот Киркор, напротив, в то время весьма выразительно развивал “литовскую” историческую концепцию. Литовцы, по его мнению, начиная с XIII в., когда начался их “исторический расцвет”, создали могущественное государство, а русские княжества охотно покорялись литовцам, потому что в Литве уважались права, обычаи, язык присоединенных народов. Проблемы Литвы начались после того, когда “умные польские дипломаты” “заставили свою королеву Ядвигу выйти замуж за князя Литовского [Ягайло]”. Но в это время независимость Литвы еще отстаивал великий князь Витовт, который, по мнению Киркора, “превосходил умом едва ли не всех тогдашних властителей Европы”. И только Люблинская уния, когда Сигизмунд Август “сам подписал уничтожение своей родины”, кардинально изменила ситуацию. С этого момента, особенно с прибытием иезуитов, начинается “порабощение народности” и другие бедствия: “войны, голод, моровая язва, пожары, внутренние раздоры” [5. Ф. 735. Оп. 10. Д. 305. Л. 520–524]; (публикация [35. С. 310–325]) (см. также [36]).

И не кто иной как Киркор уже в середине XIX в., в полном согласии с мировоззрением эры национализма, одним из первых продемонстрировал образец состязания с поляками за включение в литовский национальный пантеон видных исторических фигур, традиционно отождествлявшихся с польским прошлым. Явственный отзвук этого спора вокруг “национализации” прошлого доносит до нас и записка об унии: “Немногие знают или не все хотят знать, что самые громкие польские имена, как напр.: князь Константин Острожский, Лев Сапега, Карл Ходкевич, Стефан Чарнецкий, Фадей Костюшко, Нарушевич, Мицкевич и многие другие были не поляки, но литовцы или русины; что все почти корифеи нынешней польской литературы наши соотчичи”. Подобные же мысли находим в письме Киркора его будущей жене Марии в начале 1861 г.: “Литва дала Польше много знаменитых людей, каких она никогда не имела, напр. Мицкевича, Косцюшко и много других” [5. Ф. 735. Оп. 10. Д. 305. Л. 523; 26. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2. Д. 264. Л. 8].

Некоторые эпизоды, о которых упоминается в записке об унии, прямо связаны с деятельностью и личными обстоятельствами А. Киркора. Так, в одном

месте плавное развертывание аргументации в пользу отделения католической церкви от Рима прерывается эмоциональной жалобой на крайности новейших русификаторских мероприятий (уния противопоставляется им как созидательное действие – опрометчивой ломке). Прежде всего имелись в виду последствия резкой смены приоритетов имперской политики в Западном крае, особенно ощутимые для лиц, сотрудничавших с местной администрацией до восстания 1863 г.: “Никому не тайна, что эта (до восстания 1863 г. – *Авт.*) система ласкала и почти опиралась на привилегированный класс, польский по духу, по языку и направлению; что тогда польская речь, польско-латинские памятники (предметы старины. – *Авт.*) вовсе не были запрещаемы и устраняемы; напротив, даже оказывалось содействие к их собиранию. Такие напр. памятники видели Государь, Великие Князья и Княгини, высшие государственные сановники, министры, наконец все местные власти; все видели и все хвалили. Почему же теперь падает вина на нескольких человек, действовавших в духе того времени, но сохранивших и готовых жизнью и кровию доказать свою преданность престолу и отечеству; за что публично оглашают их чуть не преступниками...” Нет сомнений, что речь здесь идет о Виленской археологической комиссии, в которой Киркор играл одну из самых главных ролей и деятельность которой была фактически прекращена в 1865 г. [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 34–35; 37. С. 43–47].

Симптоматично, что ни один из фрагментов записки 1865 г., имеющих отношение к “литовской” теме, а равно и к вопросу об археологической комиссии, не фигурирует в опубликованной Мартыновым версии. Логично предположить, что виновник такого изъятия опасался, что нетривиальность, узнаваемость соответствующих взглядов облегчит установление личности сочинителя. Таких опасений не могло быть у Мартынова. Иное дело Киркор¹⁴.

На Киркора указывает и еще одна купюра в мартыновской публикации. Это пункт о частной или “полуофициальной” газете, которая в первые годы унияонного процесса могла бы фактически получить монополию на освещение этого предмета (дабы избежать “резкого тона, обидных для народного самодобия недоверия, насмешек”, неизбежных в других органах печати – временное ограничение гласности должно было служить межконфессиональному сближению) и, в частности, содействовала бы сбору подписей среди католиков [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 56 об.–57]. Киркор, как уже упоминалось, с 1860 г. по контракту с попечителем Виленского учебного округа издавал официальную местную газету “Виленский вестник”. Мысль о том, что издателем и редактором официальной газеты должен быть не “поляк”, а русский, обсуждалась еще при генерал-губернаторе М.Н. Муравьеве. Особенно старался сместить Киркора попечитель учебного округа И.П. Корнилов. Однако Муравьева Киркор, похоже, устраивал как издатель-редактор. По свидетельству начальника жандармского управления Виленской губернии А.М. Лосева, на предложения заменить Киркора Муравьев отвечал: “Никогда этого не сделаю, ибо кроме Киркора никто не в состоянии выполнить моих предположений, и если Киркор не будет редактором, то поляки “Виленского вестника”

¹⁴ Утверждать с безоговорочной уверенностью, что именно Киркор изъяснял эти фрагменты при пересылке проекта Крашевскому, все-таки нельзя, покуда не найден и не сличен с публикацией Мартынова текст этой версии.

читать не будут” [17. Ф. 567. Оп. 5. Д. 820. Л. 157; 26. Ф. 109. 1-я экспедиция. Оп. 32. Д. 4. Ч. 3. Л. 33].

Обстоятельства обернулись против Киркора после того, как Муравьева на посту генерал-губернатора сменил К.П. Кауфман. Уже 10 августа 1865 г. попечитель учебного округа Корнилов обратился к новому генерал-губернатору по поводу “Виленского вестника”. Обвинения редактору остались прежними – “направление газеты” и невыполнение условий контракта. Хотя официально Киркора известили о передаче газеты в другие руки только 25 октября 1865 г., когда записка об унии уже была составлена, но очевидно, что ему и раньше были известны планы местных властей [17. Ф. 378. Оп. 121. Д. 582. Л. 1–4, 10–12; BS. 1864 г. Д. 213. Л. 27–28]. А значит, он должен был думать о новой деятельности. Издательское дело и публицистика были теми сферами, где он мог лучше всего проявить себя. Дальнейшие события не противоречат допущению об участии Киркора в проекте унии. В конце 1866 г. он обратился к властям с просьбой о разрешении ему издавать газету “Переход” [17. Ф. 378. BS. 1866 г. Д. 191]. Хотя, согласно программе этой газеты, она была призвана способствовать ускорению продажи “польских” имений в Западном крае русским землевладельцам (такую задачу ставил хорошо известный в историографии указ от 10 декабря 1865 г.), но можно предположить, что это название могло скрывать и совсем другой смысл. Само слово “переход” в качестве названия печатного органа было бы уместнее, если бы обозначало действие, совершаемое одушевленным субъектом. По некоторым свидетельствам, в частном порядке сам Киркор, объясняя название, толковал о переходе “от революционного террора к спокойствию и правильной гражданской жизни” [38. С. 628]. Но нельзя также исключить вероятность того, что в данном случае подразумевался переход массы людей из одной церкви в другую.

Продвинувшись в разрешении проблемы авторства унионного проекта помогает знакомство с пространной анонимной запиской от 28 мая 1866 г., под заглавием “Настоящее положение северо-западных губерний”, поступившей как в МВД, так и в III Отделение. Это энергичная, аргументированная и продуманная критика ряда русификаторских мероприятий, проводившихся с лета 1865 г. под фегулой К.П. Кауфмана. Автор выступает с позиции всецело лояльного имперской власти местного деятеля, но подчеркивает утопичность задачи полного и немедленного, под одну гребенку, обрусения местного образованного общества. Такая задача, по мысли автора, еще более усложнялась отсутствием каких бы то ни было выборных институтов в крае, которые могли бы привлечь молодое поколение нынешнего польскоязычного населения на сторону России без утрашений и принуждения к покорности [5. Ф. 908. Оп. 1. Д. 271; 26. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2. Д. 713. Л. 3–59].

Особое внимание уделялось насильственным методам перевода католиков в православие на уровне отдельных приходов, которые практиковались администраторами среднего и низшего звена. В записке перечислялось двенадцать имен наиболее рьяных “обратителей”, и эта цифра многозначительно прописана против данного абзаца на полях копии записки, прочитанной министром внутренних дел П.А. Валуевым: помета была созвучна предупреждениям автора записки о деструктивных амбициях низовых русификаторов, неподконтрольных вышестоящим инстанциям [5. Ф. 908. Оп. 1. Д. 271. Л. 22 об.]. Как мы уже видели, указание на опасность эксцессов при “обращении прямо в православие” было одним из аргументов в пользу унионной формы присоединения.

Для темы настоящей статьи особенно интересно следующее. Автор, рассуждая об оптимальных способах интеграции Западного края с империей, упоминает о том, что он уже имел случай “заявить наши мысли о необходимости образования у нас русской католической церкви и освобождения ее от влияния папства”, указывая при этом, что это было сделано семью месяцами ранее [5. Ф. 908. Оп. 1. Д. 271. Л. 18, 27]. А в сопроводительном отношении (адресованном новому начальнику III Отделения П.А. Шувалову) уже упоминавшийся выше А.А. Куцинский указал точное название и дату представления предшествующего предложения этого анонимного составителя: “Как выйти из ненормального положения в западных губерниях”, 12 октября 1865 г. [26. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2. Д. 713. Л. 1–2], т. е. нет никаких сомнений, что записка об унии (или ее немалая часть) и критический обзор управления северо-западными губерниями составлены одним и тем же лицом. Куцинский в июне 1866 г. отметил, что это “человек вполне развитый, просвещенный и, хотя католик и литовского происхождения, но, безусловно, предан к законному правительству”.

Подходит ли Киркор под это определение? После его смерти не раз утверждалось, что он родился в семье униатского священника [39. S. 3]. Однако впоследствии было доказано, что, хотя его предки были татарского происхождения, семья исповедовала католичество [40. S. 7]. Еще примечательнее то, что автор записки назван литовцем. В российском официальном и общественном дискурсе того времени литовцами считали только крестьянское население, а литовское или белорусское происхождение дворянства если и принималось как исторический факт, почти никогда не учитывалось властью при идентификации “лиц польского происхождения”. Поэтому круг лиц в образованном обществе, за которыми признавалась “литовскость”, был очень узок – и Киркор к нему принадлежал.

Некоторые сюжеты этой записки дополнительно подкрепляют версию о А. Киркоре и как ее авторе и как участнике в подготовке унионного проекта. Здесь мы тоже встречаем ясно выраженные проявления литовской идентичности, резко отделяемой от польскости, предпочтение, отдаваемое политике М.Н. Муравьева перед системой К.П. Кауфмана, позитивную оценку деятельности помощника виленского генерал-губернатора А.Л. Потапова [5. Ф. 908. Оп. 1. Д. 271. Л. 11, 4–5]¹⁵.

Наконец, обратимся к последнему по времени из известных нам документов, развивающих идею православно-католической унии в Западном крае. Это небольшая по объему анонимная записка под заглавием “Еще об унии”, датированная 15 сентября 1866 г. и поступившая в октябре того же года в III Отделение. Логический строй и содержание записки ставят ее в один ряд с записками от октября 1865 и мая 1866 г., что явствует из самого названия; это своего рода резюме доводов в пользу унии, но сформулированных с учетом новой общественно-политической ситуации, обусловленной покушением Д.В. Каракозова на Александра II. Уния противопоставляется теперь не просто административной кампании обращений отдельных приходов в православие, но еще и будто бы кроющимся за этой деятельностью “демагогическим началам, социальным учениям, ... нигилизму”. “Никто не хочет обратить внимания на то,

¹⁵В историографии утверждается, что Киркор был в хороших отношениях с Потаповым [32. S. 105].

что гнездо этого волканического брожения теперь здесь, в Северо-Западном крае”, – сокрушался автор (учитывая, что в записке названы в третьем лице в качестве сторонников унии Прушинский и архиепископ Антоний, авторство Киркора вновь представляется очень вероятным). Как и в записке от мая 1866 г., местная власть уличается в неспособности контролировать ситуацию: “Все вообще стараются уверить самих себя, что года через три 2 1/2 миллиона католиков в здешнем крае будут православными... Здесь, к сожалению, есть люди, во главе стоящие, кои совершенно верят в этот горячечный бред людей неумелых, людей, задумавших для своих преступных целей, в виде опыта, принести в жертву этот и без того несчастный край”.

В записке подчеркивалась важность немедленного институционального отрыва российских католиков от Ватикана. Период существования унии с православием назывался в записке “*переходным временем*”, “неизбежным при таких реформах”, – выражение, которое вызывает в памяти название газеты, задуманной Киркором как раз в конце 1866 г. (“Переход”). Уния “сошьет единоплеменные народы в единое великое целое”. В данном случае, как видим, цель унии описывалась в терминах национальной ассимиляции, без акцента на вероисповедном аспекте такого сближения. Желая подчеркнуть гражданский характер унионного процесса, автор изображал католических священников проводниками светского влияния государства: “И те же ксендзы, которые ныне являются самыми рьяными пропагандистами противуправительственной партии, при унии неминуемо сделаются самыми усердными борцами русского дела”.

А в отношении крестьянства уния выступала своего рода анестезией при смене конфессии. В отличие от неизбежности применения насилия при организации обращений католиков по отдельным приходам (насилия, уже вызвавшего к тому моменту жалобы более чем, по оценке автора записки, 20 тыс. крестьян), “уния повлечет их всех за собою и они перейдут в нее почти бессознательно” [26. Ф. 109. 1-я экспедиция. Оп. 39. Д. 82. Л. 81–82 об.]. Такой способ воздействия на крестьянство исключал необходимость прямого контакта с ним многочисленных чиновников, во многих из которых автор видел носителей разрушительных начал.

Как и в случае подробной записки об унии 1865 г., мы не располагаем непосредственными свидетельствами о какой-либо реакции чинов III Отделения или другого центрального ведомства на этот довольно энергичный призыв к действию.

Наше исследование показывает, что к возникновению и составлению унионного проекта 1865–1866 гг. были причастны прежде всего бывший глава Минской православной епархии архиепископ Антоний и два “лица польского происхождения” (используя официальную терминологию власти): редактор официальной местной газеты Адам Гонорий Киркор и минский предводитель дворянства Евстафий Прушинский. В случае предварительного одобрения проекта властями представлять его в Петербурге должен был Киркор. Иными словами, проект православно-католической унии сам был результатом “микронуии” между представителями православной и римско-католической конфессий.

С этой точки зрения вопрос о целях, преследуемых при составлении проекта каждым из участников, представляется довольно запутанным. Архиепископ Антоний еще в 1840 г. предлагал вывести католическую церковь на территории Империи из подчинения папе римскому и создать условия для поглощения

ее церковью православной, а следовательно – в его понимании – и уничтожения “польского элемента”. В 1864 г. он высказался за организацию миссионерской кампании на приходском уровне, подчеркивая важность материальной, мирской мотивации (особенно для крестьян) в таких обращениях. Но уже весной 1865 г. он рекомендовал Прушинского местным властям как наилучшего кандидата в руководители сбора подписей в среде “панов и ксендзов” в пользу унии. Уния здесь представляла институциональным способом “присоединения” к православию, причем тезис о преимущественно светском характере движения оставался в силе.

Есть основания считать, что некоторые деятели в Виленской администрации были, хотя бы в отдельные моменты, склонны принять такой проект к обсуждению. По свидетельству одного из ближайших сотрудников М.Н. Муравьева, тот размышлял о возможности отделить католическую церковь от влияния папы Римского “в виде раскола”. Помощник Муравьева А.Л. Потапов в 1865 г. тоже думал о возможности “окончательного отделения российских католиков от влияния Рима и введения брака для ксендзов” [41. С. 66; 26. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2. Д. 758а. Л. 26]. Можно предположить, что к проекту унии, пусть и недолго, проявлял интерес преемник Муравьева К.П. Кауфман, которому об этом деле как раз и писал Антоний¹⁶.

Для православного архиерея, до 1839 г. бывшего епископом греко-униатской церкви, проект православно-католической унии значил, конечно, больше, чем для виленских администраторов. С начала 1860-х годов, и особенно после восстания 1863 г., когда критерием политической благонадежности на западной периферии все более становилась национальная или этнокультурная принадлежность, бывшее униатское, а теперь православное духовенство стало объектом довольно резкой критики со стороны многих чиновников, даже высокопоставленных. Духовенство из бывших униатов, несмотря на прошедшие после “присоединения” двадцать с лишним лет, казалось не имеющим должного влияния на паству, необратимо полонизированным и отчужденным от уроженцев Великороссии – как духовных лиц, так и светских. Такого рода упреки адресовались и некоторым архиереям, например, преемнику Антония на Минской кафедре архиепископу Михаилу, чье предпочтение польского языка рус-

¹⁶ Косвенным подтверждением может служить то обстоятельство, что предложения Прушинского, изложенные в письме архиепископа Антония и адресованные К.П. Кауфману, попали в III Отделение. Возможно, виленский генерал-губернатор, сочувствуя этой инициативе, переслал упомянутое письмо в столицу. Кроме того, в одном из писем Крашевскому от июня 1873 г. Киркор утверждал, что Кауфман передал записку об унии 1865 г. на рассмотрение состоящей при нем (и на тот момент весьма влиятельной) Ревизионной комиссии по делам римско-католического духовенства. Согласно Киркору, председатель Комиссии А.П. Стороженко приветствовал идею, но некоторые другие члены, не желавшие никакого компромисса с католицизмом и рассчитывавшие искоренить католическую церковь в западных губерниях посредством приходских обращений, остудили энтузиазм Кауфмана [31. Л. 544]. Хотя достоверность сведений об обсуждении унионного проекта, сообщенных Киркоров Крашевскому в 1873 г., в целом невысока (см. об этом ниже), данная информация отчасти подтверждается тем, что по распоряжению Кауфмана в Ревизионную комиссию была внесена записка ее члена Н. Деревницкого. Тот в июне 1866 г. посетил в Почаевском монастыре архиепископа Антония и затем доложил с его слов генерал-губернатору о предложениях Е. Прушинского касательно “учреждения Западно-Католической иерархии, независимой от Рима” [17. Ф. 378. ВС. 1866 г. Д. 2269. Л. 3–4]. Правда, в журналах Комиссии факт обсуждения этой короткой записки Деревницкого, не говоря уже о записке “Как выйти из ненормального положения в западных губерниях”, не зафиксирован. Возможно, этот проект обсуждался сугубо неофициально.

скому было постоянным предметом жандармских донесений [26. Ф. 109. 1-я экспедиция. Оп. 41. Д. 5. Ч. 5. Л. 17–18; 16. С. 59–60; 42. С. 79–81]. Новая же уния, где господствующее положение сохранялось за православной церковью, могла бы послужить преодолению этой болезненной памяти об унии прежней, делая не столь актуальными различия между “древлеправославными” и бывшими униатами и присваивая черты “своего чужого” католикам.

О том, что местные православные иерархи не были одиноки в таких устремлениях, свидетельствует еще один чиновничье-публицистический опус – записка “Меры к уничтожению Римского католичества в Западной России”, представленная в июле 1866 г. в Виленскую Ревизионную комиссию по делам католического духовенства К. А. Говорским, издателем местного официально-го журнала “Вестник Западной России”. Журнал Говорского снискал себе дурную славу своей полонофобией, но в данной записке, несмотря на ее воинственное заглавие, автор ратовал за довольно осторожную конфессиональную инженерию в отношении католической церкви. Не высказываясь прямо об институте унии, Говорский намечал целую серию мер на приходском уровне, призванных размыть культурные границы между церквями, словно бы усыпить конфессиональную бдительность католиков и облегчить “перетягивание” их в православие. Он описывал нечто вроде гибридизации обрядности и церковного обихода, при сохранении преимущества, разумеется, за православием: “В обращенных в православие костелах... не следует вдруг ломать все признаки католичества... Так, например, вводя новые православные иконы и хоругви, не нужно выносить из костела прежних образов и знамен; не нужно разрушать кафедр, из которых народ привык слушать проповеди; не нужно звон католический переменять вдруг на трезвон православный. ...Остатки католичества в костеле нужно истреблять исподволь, так сказать, незаметно для народа..., чтобы не смущать души и совести новообращенных”. Этой же цели должна была бы служить практика посещения православными священниками католических богослужений и наоборот. В прошлом униат, обучавшийся в конце 1820-х годов в духовной семинарии в Жировицах (где, напомним, ректором был тогда Антоний), Говорский ссылаясь на свой личный опыт движения к православию – лицезрение православных батюшек в униатском храме дало первый к тому толчок: “[Мы] стали считать их такими же верными христианами, как и униатов, даже борода их и костюм, так много отменный от костюма униатских ксендзов, показались нам более приличными духовному сану, чем последних ...” [5. Оп. 125. Д. 294. Л. 8–8 об., 35] (ср.: [43. С. 30–32]).

В целом, записка Говорского – и этим-то она выделяется среди многих других антикатолических прожектов в Западном крае – связывала успех наступления на “латинство” не только с усилением регламентации и надзора за отправлением католического культа, но и с одновременным повышением вероисповедной и эстетической притягательности православного храма для прежних и новых прихожан. Он выступал за создание миссионерствующих православных братств, усиленное обучение православных священников проповедническому мастерству, устройство в каждой церкви хора певчих (что, по его мнению, совершенно развеяло бы “обаяние” костельного органа, столь беспокоившее многих русификаторов) [5. Оп. 125. Д. 294. Л. 29, 50–51 об., 55–58 об.]. Записка отразила представление православных сторонников унии о том, что именно своим опытом существования в пространстве межконфессиональных контактов местное православное духовенство, в отличие от “древле-

православного”, подготовлено к роли формовщика новой идентичности римско-католического населения.

Каковы же были мотивы католиков – Киркора и Прушинского? Их участие в подготовке проекта унии объяснить сложнее. Прушинский был менее заметной, чем Киркор, фигурой того времени, и мы не располагаем источниками, позволяющими раскрыть его воззрения на унию, основываясь непосредственно на его суждениях. Местные чиновники отзывались о нем как о лояльном правительству деятеле. Иначе бы он и не стал предводителем дворянства. Но тогда возникает вопрос, почему же он сам не перешел в православие? В уже упоминавшемся письме – “политической исповеди” 1863 г., отразившей панславистские взгляды того времени, Прушинский говорил о перспективе превращения Российской империи в “чисто-русское государство”, включающее в себя Литву, Белоруссию, Правобережную Украину, и образования под его протекторатом номинально независимой “десятимиллионной Польши”. Это польское государство не только не будет создавать опасности для России, но, по выражению Прушинского, станет “грозой для немцев” [17. Ф. 378. PS. 1869 г. Д. 246. Л. 18]. Идея унии, по меньшей мере, не противоречит этому геополитическому проекту: после ликвидации римского католицизма на территории Западного края (но не Царства Польского) имперская власть могла бы меньше опасаться польской экспансии на восток и, следовательно, возростала вероятность согласия на создание независимого польского государства. В этом случае государственная граница подчеркивала бы состоявшееся этноконфессиональное размежевание. Но такой тезис, как и сама идея унии, в “политической исповеди” прямо не высказаны.

Киркор, будучи редактором-издателем “Виленского вестника” во время восстания и последовавших за ним репрессий, недвусмысленно встал на сторону власти. Некоторые характеристики Киркора, оставленные современниками, объясняют этот его шаг индифферентностью к польскому национальному движению: “Киркор был человек малодаровитый и совестливостью, твердостью убеждений не отличался и вряд ли он даже принадлежал к польской национальности” [38. С. 627–628].

Нельзя совсем отбросить и допущения, что Киркор только оформил проект, т.е. идею выдвинул архиепископ Антоний или Прушинский, а он изложил ее в письменном виде и придал публицистический лоск, дополняя от себя проект “идеологическим” обоснованием. В пользу такой версии свидетельствует и тот факт, что к услугам Киркора некоторые местные деятели, например, чиновник по особым поручениям Н.А. Деревицкий, прибегали для составления и редактирования собственных записок [26. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2. Д. 734. Л. 12]. Киркор мог содействовать продвижению этого проекта, думая в первую очередь о возможности издавать частную газету.

Куда менее корыстным Киркора рисует версия, согласно которой он взялся обосновать план унии католицизма с православием именно для того, чтобы предотвратить полное упразднение католической церкви в Империи. На 1865–1866 гг. пришелся апогей антикатолических настроений в имперской элите, выразившийся в комплексе правительственных мероприятий и запретов. В марте 1866 г., принимая одного из наиболее рьяных “обратителей” католиков в православие в Виленской губернии – князя Н.Н. Хованского, Александр II одобрил расширение наступления на католицизм, а 4 апреля 1866 г., за не-

сколько часов до выстрела Каракозова, утвердил особые правила об ускоренном порядке закрытия “лишних” католических приходов и костелов [45. К. 18. Д. 69. Л. 3; 5. Оп. 125. Д. 277. Л. 276 и сл.; 26. Ф. 109. 1-я экспедиция. Оп. 39. Д. 82. Л. 43]. Администрация К.П. Кауфмана особенно отличилась по этой части. Некоторым современникам казалось, что “если бы система генерала Кауфмана выдержала бы 5 лет, латинство бы навсегда погибло в Западном крае” [41. С. 66]. Будучи осведомлен о тенденции к расширению антикатолической политики, Киркор, как и некоторые другие католики, мог надеяться, что унию удастся институционализировать надолго и тем самым удержать хотя бы некоторые элементы католической вероисповедной традиции, обрядности. В этих условиях выход из-под духовной юрисдикции папы римского виделся, наверное, меньшим из возможных зол.

Косвенное подтверждение такой версии находим в негативной реакции на данный проект, а равно и общую идею унии со стороны некоторых представителей “русского дела” в крае, особенно сторонников традиционного отождествления православия и русскости. В разобранной выше записке “Еще об унии” отмечалось, что “здесь самая мысль об унии называется изменою”. Действительно, один из экспертов Кауфмана по делам католичества Н.А. Деревицкий, хотя и не заговаривая прямо об “измене”, утверждал, что предложения Прушинского основаны не на верноподданнических чувствах, а на осознании того, что “латинство в означенной местности в силу преобладания православия и совокупности других обстоятельств тухнет безвозвратно”: уния, стало быть, нужна для сохранения католичества [26. Ф. 109. 1-я экспедиция. Оп. 39. Д. 82. Л. 82; 17. Ф. 378. BS. 1866 г. Д. 2269. Л. 3].

Еще более выразительно высказался в июле 1866 г. в “Виленском вестнике” М.О. Коялович, известный в то время этнограф и публицист, тесно сотрудничавший с изданиями И.С. Аксакова. Касаясь перспективы выхода католиков из-под юрисдикции папы римского, он подчеркивал, что этого желательно добиться в Царстве Польском, но не в Западном крае. Ведь подобная церковь, писал он, будет “народной”, свободной от гнета иерархии, а следовательно, составит особенно опасную конкуренцию церкви православной, еще не вполне утвердившейся в Западной России. В более отдаленном будущем Коялович не исключал пользы от появления и в Западном крае “народного латинства” (термин, заметим, согласуется с описанием новой церкви в минском проекте), но заранее предупреждал об условиях, на которых оно может быть допущено: “Кто работает в подобном направлении, пусть себе работает; но пусть знает, что его дело будет второю, *обратною унией* (курсив наш. – Авт.) церквей и что вовсе нежелательно, чтобы вторая, *обратная уния* церквей была такою же коварною и пагубною для народа Западной России, как была первая церковная уния” [45; 47. С. 156–157]. По Кояловичу, инициатива унии могла послужить только обману православных; время для “обратной унии” еще не пришло.

Наконец, можно предположить, что Киркор и его единомышленники видели в унии не только инструмент для достижения известных целей, но и самодостаточный институт. Особенно важно учесть тот факт, что к унионному проекту не были прямо причастны ни местная, ни центральная бюрократия; он скорее может быть назван начинанием представителей местного образованного общества. Между тем идеи Киркора об исторической и культурно-региональной

“литовской” идентичности населения¹⁷ связывались с поиском форм самостоятельной общественной активности (разумеется, при сохранении лояльности властям). Унионная же кампания, предусматривавшая, как мы помним, минимум экклесиологической полемики, помогла бы, по этой логике, активизировать общественную жизнь, развить гражданское самосознание жителей края поверх конфессиональных и сословных барьеров.

Впоследствии Киркор, разуверившись в возможности осуществить унионный проект, постарался извлечь выгоду из преподнесения его в существенно ином свете, а именно, придать ему видимость поощрявшегося и поддержанного государством предприятия (скрывая при этом свое собственное в нем участие). В своих письмах 1873 г. Крашевскому он старался отвлечь внимание своего корреспондента – а получилось так, что и публикатора Мартынова, – от амбивалентности проекта, от непредрешенности самой формы “слияния” церквей, которая, начнись унионный процесс на деле, зависела бы не только от предначертаний творцов этого плана, но и от вклада общественных сил, и прежде всего самих католиков. В новых обстоятельствах начала 1870-х годов Киркор изображал проект 1865 г. частью русской агрессии против католицизма. Понятно, что католика Мартынова, который в том же 1873 г. готовил также брошюру о грядущем – и действительно последовавшем в 1875 г. – уничтожении греко-униатской церкви в Царстве Польском [49], не надо было “агитировать” за такую трактовку имперской политики в отношении католицизма.

Здесь уместно коснуться наиболее важных различий между рукописным текстом записки 1865 г. и публикацией Мартынова. В этой последней номенклатура проектируемых церквей претерпела примечательную метаморфозу. То, что в рукописном проекте именовалось “Российской Кафолической церковью”, у Мартынова фигурирует как “l'Église catholique slave” (“Славянская Каф(т)олическая церковь”). Образованная в результате слияния церковь именовалась у Мартынова “l'Église catholique orthodoxe”, что также не вполне соответствует “Всероссийской Кафолическо-Православной церкви” в проекте 1865 г. [10. Р. 16, 19]. Очевидно, что во французских названиях опущено или заменено слово “(все)российская”; что касается разницы между словоформами “католическая” и “кафолическая”, Мартынов не мог бы передать ее во

¹⁷Надо отметить, что, несмотря на запечатлевшийся в записке 1865 г. явный интерес составителя (составителей) к отдельной от польскости “литовской” культурно-региональной идентичности, она не содержит никаких специальных рекомендаций насчет литовского (в этническом смысле слова) крестьянского населения, которое считалось очень религиозным и даже “фанатическим”. С одной стороны, влияние католической церкви среди литовского населения могло стать серьезным аргументом в пользу унии. Даже самые ярые сторонники обрусения литовцев признавали, что “обычными методами” не удастся присоединить это население к православию. Поэтому уния могла рассматриваться как единственная возможность уничтожить католицизм среди литовцев.

С другой стороны, “литовский фактор” можно считать слабым местом общей концепции унии. Вполне вероятно, что проблема этнических литовцев замалчивалась сознательно. Ведь осуществление этого проекта требовало особой решительности со стороны имперской власти, а как раз в Ковенской губернии она не решалась даже на менее радикальные меры, как, например, удаление тельшевского католического епископа М. Волончевского, который систематически противодействовал многим правительственным мерам [48. С. 560–569]. Хотя официально указывалось, что против Волончевского не хватает юридических улик, но несомненно были и более веские причины. Во-первых, епископ-литовец все-таки для властей лучше поляка. Во-вторых, правительство не хотело еще более настраивать против себя литовцев.

французском переводе без подробных разъяснений, что явно не входило в его намерения. Эти характерные поправки, преследовавшие цель усугубить впечатление надвигающейся на польских и других славянских католиков угрозы, видимо, были внесены еще Киркором в имевшуюся у него копию русского текста – напомним, нам неизвестную. Термин “słowiańsko-katolicki Kościół” (славянско-католическая церковь) употребляется им в пересказе проекта в письме Крашевскому от 15 мая 1873 г. [31. Л. 530–532v].

Разночтения в номенклатуре церквей между французским текстом 1873 г. и проектом 1865 г. усиливаются тем, что публикация Мартынова – скорее всего, опять-таки с подачи Киркора – приписывает творцам проекта взгляд на унионный процесс в границах империи как решительный шаг к объединению под главенством России всех христианских церквей (“une seule Église chrétienne” [10. Р. 6]). Однако содержащиеся во французской версии отдельные высказывания о грядущем всеслиянии не согласуются с внутренней логикой текста в целом. Действительно, в параграфе о братствах в записке 1865 г. (который как раз опущен Мартыновым при публикации) сквозит определенный интерес к движению за объединение церквей, но очевидно, что в центре внимания авторов проекта – не панхристианский или панславистский идеал, а специфические проблемы Западного края, его интеграция с остальной частью империи. Это подчеркивается и неоднократно высказанным тезисом о том, что уния “не должна касаться [Царства Польского] для пользы самого же дела” [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 19. Л. 48 об.] Фрагменты о панхристианском объединении во французском переводе были публикаторскими интерполяциями того же свойства, что и значимые изменения в номенклатуре церквей. Не исключено, что окончательный ответ на данный вопрос может быть найден в обширной переписке Мартынова, хранящейся в Славянской библиотеке в Медоне, Франция.

Помимо интерполяций и корректировок, французская публикация содержит в форме редакторских примечаний информацию об обсуждении проекта в правительственном кругу. А именно, сообщается, что проект был представлен правительству только после того, как к нему благосклонно отнеслись высшие местные и духовные власти. Это утверждение, однако, противоречит, как указывалось выше, заявлению А.А. Куцинского о том, что проект далеко не совпадает с “воззрениями и убеждениями местного управления”. Неправдоподобно и добавочное примечание Мартынова о том, что с проектом в конце 1860-х годов были ознакомлены православный митрополит Литовский Макарий (Булгаков) и генерал-губернатор А.Л. Потапов [10. Р. 17]. Дело в том, что в Виленской администрации к 1869 г. тема унии была не только закрыта, но и нежелательна для упоминания. Это усматривается из официальной переписки между Потаповым и Прушинским в 1869 г. Генерал-губернатор затребовал от минского предводителя дворянства разъяснений о мотивах написания тем еще в 1863 г. “политической исповеди” на польском языке. Подробно доказывая свою благонадежность и лояльность, Прушинский ни словом, ни намеком не коснулся плана унии, хотя повод к тому у него был: Потапов ссылался в своем запросе на контакты с архиепископом Антонием [17. Ф. 378. PS. 1869 г. Д. 246. Л. 5–7].

Кроме того, в письмах Киркора Крашевскому 1873 г. содержится информация о будто бы имевшем место в конце 1860-х годов обсуждении проекта унии в Петербурге, в котором участвовали митрополит Макарий, директор ДДДИИ Э.К. Сиверс, ректор католической духовной академии П. Стацевич

и др. [31. Л. 544]. Некоторые из названных Киркором лиц были причастны к тогдашним попыткам российского правительства найти в Германии антипапистски настроенных католических иерархов, которые согласились бы стать лояльных Петербургу епископов на кафедры в России независимо от папы [5. Ф. 821. Оп. 138. Д. 62. Л. 120–122 об.]. Однако нет достаточных оснований полагать, что этот замысел был производным от исходящего из Северо-Западного края проекта унии. Так, в доверительных письмах весьма информированного чиновника ДДЦИИ А.М. Гезена М.Н. Каткову нет упоминаний об обсуждении интересующего нас проекта унии, хотя в 1870 г. Гезен и выражает тревогу по поводу существующей, по его мнению, в ДДЦИИ тенденции к наступлению на римский католицизм [45. К. 20. Д. 1. Л. 122–123 об.]. Требуется дополнительная проверка и сообщение Киркора о намерении митрополита Макария использовать чешских колонистов католической веры для реанимации проекта унии и даже приглашения к нему всех славян.

В целом, вследствие продуманных интерполяций и купюр, осуществленных, скорее всего, самим Киркором, французская публикация записки об унии создала ложное впечатление устойчивости интереса российского правительства к унионному проекту и притязаний православной церкви на объединение христианских конфессий.

Проект православно-католической унии 1865–1866 гг., бесспорно, нельзя изымать из контекста репрессивной политики российского правительства в отношении римско-католической церкви в Западном крае. Достаточно отметить, что обоснованная в нем применительно к унии идея о политической или социальной мотивации религиозных движений, о католическом клире как партнере православного духовенства в общегражданском предприятии отразилась вскоре в утрированной, почти гротескной форме в “обратительской” деятельности председателя Виленской ревизионной комиссии по делам католического духовенства А.П. Стороженко. Участвовавший, по сведениям Киркора, в обсуждении унионного плана¹⁸, Стороженко затем попытался мобилизовать католических священников на службу православию без всякой унии. В 1866–1867 гг. он использовал в Минской губернии нескольких ксендзов, обещавших принять православие, для активизации массовых обращений крестьян-католиков, прежде всего собственных прихожан этих священников. «Ксендзы вводили в Западном крае латинство, а теперь, по пословице “клин клином выбивают”, те же ксендзы обращают католиков в православие. Лучших пропагандистов трудно отыскать, ксендзы по части прозелитизма сих дел мастера», – утверждал он, вторя автору записки “Еще об унии” [17. Ф. 378. BS. 1864 г. Д. 1331а. Л. 58–64 об.]. Многие из тех, кто был “обращен” таким способом, оставались вместе со своими детьми тайными католиками и едва ли питали чувство признательности к властям.

Но, несмотря на это, проект “Минско-Виленской унии” включался и в другой, исторический, контекст. Его разработка в узком, но конфессионально не замкнутом кружке местных деятелей явилась своего рода актуализацией – в условиях новой эпохи национализма и ассимиляции – опыта унионного процесса 1590-х годов в восточных землях Речи Посполитой, этой зоне длитель-

¹⁸ Имеются также сведения о причастности Стороженко к планам создания в России независимого от Рима католического церковного управления [26. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 2. Д. 705. Л. 23–24].

ных межэтнических и межконфессиональных контактов [50. С. 212–284]. Как и тогда, перемена конфессионального статуса становилась бы не только результатом неправительственной инициативы (в 1590-х годах с нею выступила группа православных иерархов, желавших, в частности, разрешить конфликт со светскими лидерами православных же братств, апеллируя к авторитету Святого престола), но и предметом переговоров о цели, характере и пределах сближения двух прежде отчужденных друг от друга конфессий. Так же, как православные епископы в 1595–1596 гг. надеялись при заключении унии на предотвращение “латинизации” греческих обрядов и, главное, прекращение католического миссионерства среди своей паствы, католические участники проекта 1865 г. могли видеть в унии средство остановить на каком-то рубеже наступление “миссионерствующей” администрации на католическую церковь. Проводя такую параллель, нельзя, разумеется, упускать из виду, что католики в Российской империи 1860-х годов подвергались куда более жесткому контролю со стороны государства, чем православные в Речи Посполитой конца XVI в.

Видимо, именно открытость или хотя бы только видимость открытости унионного проекта 1865–1866 гг. альтернативным (даже в заданных рамках) исходам была одной из причин, объясняющих отсутствие официальной реакции властей на записку “Как выйти из ненормального положения в западных губерниях”. Проект предполагал проявление на первых порах инициативы и организованной активности со стороны католического, а не православного населения края, тогда как властям и православной церкви отводилась скорее роль выжидающего наблюдателя. Легко допустить, что в середине 1860-х годов под известным углом зрения в нем можно было усмотреть опасность перетягивания православных в католическую обрядность, вопреки декларированию обратной цели. Постоянно мучимые сомнениями в достаточности русского ассимиляторского потенциала на западной окраине империи и обремененные антикатолическими фобиями, творцы “деполонизаторской” политики не воспользовались заложенным в проекте шансом сблизить две конфессии. Кроме того, в высшей администрации даже в середине 1860-х годов оставались лица (например, П.А. Валуев), которые, поступи проект на официальное обсуждение, едва ли могли бы признать целесообразность упразднения римско-католической церкви в России, пусть даже с согласия и при поддержке некоторой части ее собственной паствы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винтер Э. Папство и царизм. М., 1964.
2. Серова О.Д. Взгляд из Петербурга на отношения со Святым Престолом // Россия и Ватикан в конце XIX – первой трети XX века. СПб., 2003.
3. Кострыкин А.Н. Формирование новой конфессиональной политики России в Царстве Польском (Середина 60-х годов XIX века) // Вестник Московского университета. 1995. № 4. Сер. 8: История.
4. Wiech S. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866–1896). Kielce, 2002.
5. Российский государственный исторический архив.
6. Weeks T. Religion and Russification: Russian Language in the Catholic Churches of the ‘Northwest Provinces’ after 1863 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2001. №. 1.
7. Dolbilov M. Russification and the Bureaucratic Mind in the Russian Empire’s Northwestern Region in the 1860s // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2004. №. 2.

8. *Сталюнас Д.* Может ли католик быть русским? О введении русского языка в католическое богослужение в 60-х годах XIX в. // *Российская империя в зарубежной историографии.* М., 2005.
9. *Чуркина И.В.* К вопросу о попытке объединения старокатолической церкви с православной (70–90-е годы XIX в.) // *Церковь в истории славянских народов М., 1997* (Балканские исследования. Вып. 17).
10. *Martinov J.* Un nouveau plan d'abolition de l'Église romaine en Russie. Paris, 1873.
11. *Boudou A.* Stolica Świąta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu. Kraków, 1930. Т. 2.
12. *Głęboccki H.* Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866). Kraków, 2000.
13. *Смалянчук А.Ф.* Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх літоўскіх землях 1864–1917 г. Гродна, 2001.
14. [Філатава А.М.] Хрысціянскія канфесіі пасля далучэння Беларусі да Расійскай Імперыі (1772–1860) // *Канфесіі на Беларусі (к. XVIII–XX ст.).* Мінск, 1998.
15. *Пятидесятилетие* (1839–1889) воссоединения с Православною церковью западно-русских униатов. Соборные деяния и торжественные служения в 1839 г. СПб., 1889.
16. [Иосиф (Семашко), Антоний (Зубко)]. Семь проповедей синодального члена Митрополита Литовского и Виленского Иосифа, говоренные при важнейших случаях служения, и о греко-унитской церкви в Западном крае России воспоминания архиепископа Антония. СПб., 1889.
17. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Литовский государственный исторический архив).
18. *Горизонтов Л.Е.* Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.). М., 1999.
19. *Савин А.Н.* Николай I и цесаревич Александр Николаевич // *Труды Института истории РАН ИИОН.* М., 1925. Вып. 1.
20. [Ольга Николаевна]. Сон юности. Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны. 1825–1846 // *Николай I. Муж. Отец. Император.* М., 2000.
21. *Римский С.В.* Российская церковь в эпоху Великих реформ (Церковные реформы в России 1860–1870-х годов). М., 1999.
22. Три докладные записки бывшего архиепископа Минского Антония Зубко гр. М.Н. Муравьеву (1864 г.). (Оттиск из “Литовских епархиальных ведомостей”). Вильна, 1901.
23. *Werth P.* Changing Conceptions of Difference, Assimilation, and Faith in the Volga-Kama Region, 1740–1870. Bloomington, (в печати).
24. *Werth P.* At the Margins of Orthodoxy Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga–Kama Region, 1827–1905. Ithaca, 2002.
25. *Parsons R.* Polish Catholicity and Russian “Orthodoxy” // *Parsons R. Studies in Church History.* Philadelphia, 1898. Vol. 5.
26. Государственный архив Российской Федерации.
27. *Цимбаева Е.Н.* Русский католицизм: Забытое прошлое российского либерализма. М., 1999.
28. *Walicki A.* Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa, 2002.
29. [Муравьев А.Н.] Слово католического православия римскому католицизму. М., 1853.
30. Антоний, архиепископ. Сходство и разница учения Православной и Римской церковей. Вильна, 1867.
31. Biblioteka Jagiellońska (Ягеллонская библиотека в Кракове). Rkps. 6509.
32. *Kirkor S.* Przeszłość umiera dwa razy. Powieść prawdziwa. Kraków, 1978.
33. *Киркор А.* Хронологическое показание достопримечательных событий Отечественной истории в Виленской губернии до 1852 года // *Памятная книжка Виленской губернии на 1852 год.* Вильна, 1852. Ч. 2.
34. *Киркор А.* Этнографический взгляд на Виленскую губернию // *Вестник Императорского Русского географического общества.* 1857. Кн. 4.
35. *Staliūnas D.* Lietuviškojo patriotizmo pėdsakai XIX a. viduryje // *Lietuvos istorijos metraštis 2000.* Vilnius, 2001.
36. *Слизов И.* [Киркор А.] Иезуиты в Литве (б.м. б. д).
37. *Aleksandravičius E.* Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1831–1863 metais. Organizaciniai kultūros ugdymo aspektai. Vilnius, 1989.
38. *Окрейц С.С.* Литературные встречи и знакомства // *Исторический вестник.* 1916. № 7.

39. *Ziemkiewicz R.* Adam Honory Kirkor. (Biohrafіčno-bibliohrafічны narys 25-letniuju hadaўščynu śmierci). Wilnia, 1911.
40. *Bernsztejn M.* Adam-Honory Kirkor. Wydawca, redaktor i właściciel drukarni w Wilnie od roku 1834 do 1867. Wilno, 1930.
41. *Черевин П.А.* Воспоминания. 1863–1865. Кострома, 1920.
42. *Владимиров А.П.* О положении православия в Северо-Западном крае. М., 1893.
43. [Эремич И.] Кое-какое различие между папством и Православием. Вильна, 1866.
44. *Stolzman M.* Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora. Kraków, 1973.
45. Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 120.
46. *Коялович М.* “Московские ведомости” и Западная Россия (Русское латинство, русское жидовство) // Виленский вестник. 1866. 14 VII.
47. *Цьвікевіч А.* “Западно-Руссизм”. Нарысы з гісторыі грамадзкай мыслі на Беларусі ў пачатку XIX в. Менск, 1993.
48. *Merkys V.* Motiejus Valančius: tarp katalikiško universalizmo ir tautiškumo. Vilnius, 1999.
49. *Martinov J.* Le plan d’abolition de l’Église grecque-unie. Paris, 1873.
50. *Дмитриев М.В.* Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг. М., 2003.



© 2005 г. С. В. МОРОЗОВ

К ВОПРОСУ О СЕКРЕТНОМ ПОЛЬСКО-ГЕРМАНСКОМ ДОГОВОРЕ 1934 ГОДА

В истории международных отношений 1930-х годов есть не до конца проясненный в историографии вопрос о возможности заключения секретного договора антисоветской направленности в период подписания и ратификации польско-германской декларации от 26 января 1934 г. И если такой договор действительно существовал, насколько были о нем осведомлены в Москве.

26 января 1934 г. польский посланник Юзеф Липский и министр иностранных дел Германии Константин фон Нейрат подписали в Берлине “Декларацию о мирном разрешении споров и неприменении силы между Польшей и Германией” (ее текст см.: [1. С. 41–42; 2. С. 66–67]). В ней заявлялось, что оба правительства намерены договариваться непосредственно по всякого рода проблемам, касающимся двусторонних отношений. Срок ее действия был определен в 10 лет. Форма декларации, а не договора была применена по настоянию германской стороны, так как позволила Берлину уклониться от предоставления гарантий польско-германской границы [3. S. 106–108], что допускало возможность пересмотра территориального *status quo* третьих государств. Декларация имела и некоторую особенность. В отличие от советско-польского пакта о ненападении от 25 июля 1932 г., равно как и принятой дипломатической практики, польско-германская декларация не содержала статьи о прекращении ее действия в случае вступления одной из сторон в вооруженный конфликт с третьей страной, что при определенных условиях могло придать ей характер наступательного союза.

Заключение наступательных союзов, в том числе и скрытых, нередко сопровождается подписанием тайных статей, приложений, протоколов и договоров. Поэтому не случайно вскоре после заключения польско-германской декларации среди дипломатов, политиков и журналистов стали курсировать слухи, свидетельствующие о существовании секретных статей, о тайных намерениях Берлина и Варшавы напасть в скором времени на Советский Союз. Французская газета “L’Echo de Paris” высказывалась весьма определенно, уверенно заявляя о “секретном польско-германском соглашении” [4. С. 257]. Газета “Le Populaire” 8 февраля 1934 г. в статье “Пилсудский и Гитлер” писала: “Самым существенным вопросом является следующий: какой ценой Пилсудский и его банда заключили соглашение с Гитлером? Оставит ли Польша Германии свободу дей-

ствий в австрийском вопросе? Присмет ли она взамен этого “техническое” сотрудничество Германии для действий на Украине, о которой она мечтает уже давно” [5. Оп. 29. Пор. 21. Пап. 309. С. 18–19].

Польские официальные лица решительно отрицали существование подобных планов. Так, министр иностранных дел Польши Ю. Бек в беседе с британским послом в Варшаве Вильямом Эрскином, состоявшейся через несколько дней после подписания декларации Липский–Нейрат, заявил, что в течение всех переговоров с Германией вопросы, касающиеся третьих стран, не затрагивались [6. Vol. VI. P. 359]. Находясь в Москве 13–15 февраля 1934 г. и беседуя с главой НКВД СССР М.М. Литвиновым, польский министр в связи с отсутствием в тексте декларации статьи о прекращении действия соглашения в случае агрессии Германии как бы со смехом заметил, что ему приписывают секретное соглашение с Берлином, но при этом не попытался опровергнуть эти утверждения¹.

Вскоре в газетных сообщениях на эту тему появился новый момент. 16 марта 1934 г. лондонское агентство “Week” сообщило о якобы существующей договоренности между Польшей и Германией напасть на Советский Союз, причем уже совместно с Японией [8. Ф. 22. Оп. 1. 1934. Д. 3–1]. Публикации на эту тему появлялись в европейской прессе все последующие месяцы, о чем секретарь польского посольства в Лондоне Л. Орловский информировал в августе 1934 г. варшавский МИД. Он сообщал, что 22 августа 1934 г. еженедельник “Week” и 25 августа издание “New statesman and nation” писали о готовящемся нападении Японии на российский Дальний Восток, а Германии и Польши на ее европейскую часть. Германии, якобы, предстояло захватить Ленинград, а затем двигаться на Москву. Перед Польшей ставилась задача нанести удар в двух направлениях – на Москву и на Украину [9. Оп. 1. Д. 78. К. 78–79].

К концу 1934 г. о японских намерениях напасть на СССР западные дипломаты говорили уже довольно часто. 10 декабря 1934 г. американский посол в Берлине Вильям Додд в беседе с британским послом сэром Эриком Фиппсом, в частности, делился сведениями о том, что Япония собирается в апреле – мае 1935 г. напасть на Владивосток. Британский дипломат не был склонен всерьез рассматривать *готовность* Японии начать агрессивные действия и вскользь заметил, что Англия признала японские притязания на Маньчжурию [10. С. 108–109]. В январе 1935 г. в официальных и неофициальных кругах Варшавы разговоры о грядущей войне стали столь интенсивными, что даже обеспокоили чехословацкого посланника Вацлава Гирсу, рассматривавшего угрозу войны через призму польско-чехословацких отношений. В донесении от 22 января 1935 г. он сообщал, что в соответствии с доминирующими в польских официальных кругах взглядами вооруженный конфликт между Польшей и Чехословакией неизбежен. Многие в Варшаве считали, что Польша должна предпринять этот решительный шаг и вооруженным путем захватить Тешенскую Силезию, Ораву и Спиш, для чего будет достаточно сил одной дивизии [11. S. 156–157; 12. С. 371].

¹ Литвинов, смеясь, как бы в шутку заметил, что Польша заключила с СССР пакт на три года, а с Германией – на 10 лет, что вызвало легкое смущение Бека, заметившего, что это можно исправить [7. Т. XVII. С. 134].

Советская пресса в 1934 г. также много писала о польско-германском сближении². 20 апреля, незадолго до подписания советско-французского договора о взаимопомощи от 2 мая 1935 г., на первых страницах центральных советских газет “Правда” и “Известия” был перепечатан из провинциальной французской газеты “Bourbonnais republicain” за 18 апреля 1935 г. текст секретного польско-германского договора, заключенного 25 февраля 1934 г., т.е. сразу же после ратификации декларации Липский–Нейрат. Согласно этому документу, размещенному во французской газете по инициативе депутата и бывшего министра Ламуре:

“1. Высокие договаривающиеся стороны обязуются договариваться по всем вопросам, могущим повлечь для той и другой стороны международные обязательства, и проводить постоянную политику действенного сотрудничества.

2. Польша в ее внешних отношениях обязуется не принимать никаких решений без согласования с германским правительством, а также соблюдать при всех обстоятельствах интересы этого правительства.

3. В случае возникновения международных событий, угрожающих статус-кво, высокие договаривающиеся стороны обязуются снестись друг с другом, чтобы договориться о мерах, которые они сочтут полезным предпринять.

4. Высокие договаривающиеся стороны обязуются объединить их военные, экономические и финансовые силы, чтобы отразить всякое неспровоцированное нападение и оказывать поддержку в случае, если одна из сторон подвергнется нападению.

5. Польское правительство обязуется обеспечить свободное прохождение германских войск по своей территории в случае, если эти войска будут призваны отразить провокацию с востока или с северо-востока.

6. Германское правительство обязуется гарантировать всеми средствами, которыми оно располагает, ненарушимость польских границ против всякой агрессии.

7. Высокие договаривающиеся стороны обязуются принять все меры экономического характера, могущие представить общие и частные интересы и способные усилить эффективность их общих оборонительных средств.

8. Настоящий договор останется в силе в продолжение двух лет, считая со дня обмена ратификационными документами. Он будет рассматриваться как возобновленный на такой же срок в случае, если ни одно из двух правительств не денонсирует его с предупреждением за 6 месяцев до истечения этого периода. Вследствие этого каждое правительство будет иметь право денонсировать его посредством заявления, предшествующего за 6 месяцев истечению полного периода двух лет” [13. 20 IV 1935; 14. 20 IV 1935; 15. С. 211].

Упоминания об этом документе в историографии, особенно польской, крайне немногочисленны. Можно назвать статью в варшавской газете “Polityka”, опубликованную во второй половине 1960-х годов, однако в ней этот документ фигурировал в качестве звена некоей интриги Парижа, направленной на то, чтобы ослабить позиции Бека [16. 6 IV 1968]. Даже такой серьезный ученый как М. Войчеховский в работе “Польско-германские отношения 1933–

² Например, в мае 1934 г. “Известия” поместили статью, посвященную внешней политике Польши, какой она представлялась политическому обозревателю немецкого журнала “Der Ring”. Немецкий автор в провокационной манере утверждал, что Польше не пристало плестись в хвосте внешнеполитических интересов Франции [13. 27 V 1934].

1938” [17] обошел своим вниманием эту публикацию в советской прессе. В отечественной историографии на нее мимоходом указала в своей монографии “Советско-польские отношения 1931–1935” И.В. Михутина [18. С. 263–264], воздержавшись при этом от комментариев.

Исследование данного документа требует особо взвешенного и ответственного подхода. Ведь после окончания Второй мировой войны в польской историографии утвердился взгляд на историю Польши 1930-х годов, исключительно как жертвы агрессивной внешней политики третьего рейха. Изучение новой, еще недостаточно исследованной стороны внешней политики Варшавы в предвоенный период, может несколько скорректировать устоявшуюся точку зрения.

Обнародование секретного договора в средствах массовой информации было нацелено на выявление скрытых мотивов польско-германского политического сближения, которому положила начало декларация от 26 января 1934 г. Это сближение имело место в течение весны–лета 1934 г. в процессе борьбы Германии и Польши против проекта системы коллективной безопасности, который инициировали советский нарком М.М. Литвинов и глава французского МИД Л. Барту. После убийства Барту 9 октября 1934 г. политическая атмосфера в Европе стала сгущаться – в дипломатических кругах заговорили о неизбежной войне [10. С. 300]. Возможность германской агрессии была учтена даже в международном договоре. 18 октября 1934 г. представитель информационного агентства Херста в Лондоне В. Хиллман сообщил американскому послу в Берлине В. Додду о заключении британо-голландского пакта. В соответствии с ним, восточная граница Нидерландов могла считаться восточной границей Англии, в случае если Германия нападет на Францию и английская армия, продвигаясь к Германии, вступит в бельгийский город Антверпен. Англия принимала на себя обязательство защищать голландские владения в Юго-Восточной Азии от Японии [10. С. 227, 238]. Во второй половине октября – начале ноября 1934 г. германское и польское дипломатические представительства были возведены в ранг посольств [17. С. 146; 18. С. 230].

Внешняя политика не только Польши, но и Германии в этот период все еще зависела от великих держав, прежде всего Великобритании, которая в результате создания Версальско-локарнской системы лишь упрочила свои позиции на международной арене. Первейшей задачей британских правящих кругов было сохранение источников благосостояния, расположенных на бескрайних просторах Британской империи. К 1930 г. в европейских странах было сосредоточено лишь 8% британских заграничных инвестиций, в то время как в империи их было размещено 59% [19. Р. 5]. Основная угроза для них исходила от Германии и Японии, которые неудержимо рвались к захвату колоний. Поэтому вполне понятной и естественной задачей для британских стратегов становилась переориентация захватнических устремлений Берлина и Токио таким образом, чтобы они реализовались не за счет империи.

Наиболее предпочтительные шансы стать объектом захвата были у Советского Союза, находившегося вне пределов Версальско-локарнской системы. С объективной точки зрения, именно переориентация германской экспансии в восточном, т.е. советском направлении стала одной из приоритетных задач Лондона. Такая перспектива все более открыто обсуждалась в среде британской элиты – в Сити, в аристократических клубах, на загородных обедах в

Клайвдене – резиденции владельцев газеты “Times” Асторов, которых навещал среди прочих и министр иностранных дел Д. Саймон [20. P. 41].

Об этом же говорил и президент США Ф.Д. Рузвельт. Министр внутренних дел США Г. Икес в 1935 г. отмечал: “По информации президента, существует взаимопонимание между Германией и Японией, которое ведет к совместной игре против России. Великобритания, всегда беспокоящаяся за сохранность империи, с неприязнью усматривает угрозу, таящуюся в этой комбинации для британских колоний, особенно в Азии, и поэтому решила прийти к какому-либо взаимопониманию с Гитлером” [21. Vol. 1. P. 494]. Таким образом, британские правящие круги, заботясь о защите своих интересов в колониях, не могли в то же время не уделять серьезного внимания континентальной, и не в последнюю очередь Восточной Европе. Взаимозависимость колониальной и европейской политики Лондона получила свое идейно-теоретическое обоснование в работах английского “классика геополитики” Хэлфорда Маккиндера [22; 23. P. 55–58, 77–78, 83].

В качестве некоего отправного пункта этой политики можно условно рассматривать визит в Лондон близкого соратника Гитлера, идеолога НСДАП по внешнеполитическим вопросам Альфреда Розенберга в начале мая 1933 г. Он беседовал, в частности, с министром иностранных дел Англии Джоном Саймоном³ и изложил британскому руководству гитлеровский план территориальных захватов в Восточной Европе⁴. О том, что этот план был встречен благосклонно, свидетельствует интервью секретаря германского посольства в Лондоне О. Бисмарка канадской газете “Toronto daily star”, данное им, когда гитлеровский эмиссар еще не отбыл в Берлин. Бисмарк утверждал, что Германия получит “польский коридор” без войны, за что Польше будут предоставлены сектор в Гданьске, свободный от таможенных пошлин, и территориальная компенсация за счет Украины⁵.

Поскольку гитлеровские планы лежали в русле задач британской внешней политики, лондонским политикам предстояло выяснить, насколько они серьезны и каким образом их можно реализовать. Причем сделать это было необходимо без лишнего шума, ведь из-за отрицательного отношения британской общественности к “новой Германии” в целом и к визиту Розенберга в частности [24. Vol. I. P. 432–434] официальный Лондон был вынужден отрицать факт проведения переговоров антисоветского содержания [14. 17 VII 1933; 17. S. 51]. Эта деликатная миссия была поручена секретарю кабинета министров и комитета имперской обороны, “человеку секретов” Морису Хэнки⁶, посетившему Германию летом 1933 г. По возвращении домой он представил правительству “Заметки о внешней политике Гитлера в теории и на практике”, в которых со-

³ О беседах с Розенбергом Д. Саймон проинформировал в двух письмах британского посла в Берлине Э. Фипса, но о гитлеровских планах предпочел благоразумно умолчать [6. Vol. V. P. 204–205, 228–230].

⁴ Об этих планах проинформировал мировую общественность в конце мая – начале июня 1933 г. американский журналист М. Этеридж в нескольких статьях, размещенных в провинциальных американских газетах [17. S. 50–51].

⁵ Через месяц, когда “Правда” заявила протест, Бисмарк отказался от своей причастности к интервью и свалил утечку информации на Розенберга. Однако факт интервью и его содержание не могут быть поставлены под сомнение [14. 17 VI 1933; 17. S. 51].

⁶ Хэнки занимал в начале Второй мировой войны пост министра-координатора всех разведывательных служб Великобритании [25. С. 112–113].

общалось, что восточные планы фюрера в значительной степени соответствовали внешнеполитическим предпочтениям британских правящих кругов – Гитлер получал “жизненное пространство” на востоке, отказавшись в то же время от претензий на имперскую собственность Великобритании. С прагматической точки зрения все было ясно и следовало начинать действовать, однако, учитывая более чем сомнительный характер этих намерений с этической стороны, Лондону следовало соблюдать максимальную осторожность и установить с нацистским руководством наряду с официальным дипломатическим неофициальный, доверительный канал⁷.

Этот канал связи был незамедлительно установлен по линии британской разведки неким бароном Вильямом де Роппом, который с определенной регулярностью навещал нацистских чиновников, в частности А. Розенберга, и координировал взаимообмен информацией о нюансах германской внешней политики с учетом обоюдных интересов. Этот так называемый “второй канал” исправно функционировал до осени 1939 г., т.е. вплоть до начала Второй мировой войны⁸. Англо-германские контакты не нарушали устоявшейся в европейской политике иерархии и не выходили за рамки Версальско-локарнской системы, что наиболее ярко проявилось в проекте “пакта четырех”⁹.

Когда в процессе реализации этого проекта выяснилось, что Польша, младший в соответствии с иерархической структурой Локарно партнер, его не приемлет, но желает поучаствовать в “восточных планах” Гитлера на *своих* условиях, как равная сторона¹⁰, в Лондоне с энтузиазмом приветствовали это стремление. Глава Форин офис Д. Саймон поздравил 29 января 1934 г. польского посла в Лондоне К. Скимунта и заочно Бека от имени английского правительства и высоко оценил политику, приведшую к подписанию декларации 26 января 1934 г. Он сообщил, что передал такие же поздравления Гитлеру [9. Оп. 1. Д. 80. К. 61–64].

Польские влиятельные политики прогерманского направления сразу же поняли правила “политического преферанса” по-британски, в особенности им пришелся по сердцу его японский аспект. Накануне ратификации пакта Лип-

⁷ Соблюдение осторожности Лондоном было в то время особенно актуальным в связи со скандалом вокруг лондонского заявления германского министра Альфреда Гугенберга. Находясь в июне 1933 г. в британской столице в составе германской делегации, прибывшей на всемирную экономическую конференцию, он заявил, якобы без согласования с Гитлером: “Германия получит возможность заплатить свои внешние долги после того, как ей вернут колониальные владения в Африке и когда перед Германией – этим народом без территории – откроется пространство для расселения германской расы, на котором она будет творить великое дело мира”. Гитлер, намеренно создавший эту ситуацию, убил сразу двух зайцев – “засветил” перед мировой общественностью некую причастность Лондона к своим планам, а после возвращения в Берлин Гугенберга вынудил уйти его в отставку, поскольку тот был министром коалиционного правительства [24. Vol. I. P. 562–567].

⁸ О месте и роли де Роппа в политическом мире Британии можно судить из содержания его беседы с Розенбергом от 16 августа 1939 г. [26. Bd. VII. S. 68; 17. S. 171; 27. С. 149].

⁹ Речь идет о политической инициативе западноевропейских держав, обнародованной в середине марта 1933 г., и предполагавшей создание так называемого директората в составе Англии, Франции, Италии и Германии, который выступал бы в роли вершителя политических судеб Европы. Среди прочего этот проект был рассчитан на то, чтобы в рамках Версальско-локарнской системы произвести на основе 19-й статьи Устава Лиги наций ревизию восточных границ Германии мирным путем за счет Польши или Чехословакии и подтолкнуть тем самым Германию к агрессии на Восток.

¹⁰ Этот аспект подробно исследован в монографии И.В. Михутиной [18].

ский–Нейрат, в начале третьей декады февраля 1934 г. председатель иностранной комиссии сейма сенатор Януш Радзивилл заявил единомышленникам из консервативной краковской газеты “Czas”, что “на пользу Польши пошли изменение обстановки в Германии и угроза СССР со стороны Японии”. В особенности обращало на себя внимание следующее его высказывание: “Нам помогло то обстоятельство, что наш великий восточный сосед, столь грозный для нас несколько лет тому назад, все более запутывается в дальневосточной политике, *результаты которой сегодня трудно предвидеть*” (курсив мой. – С.М.)¹¹. Когда же через несколько дней нацистская печать бросилась его цитировать, причем под одобрительными заголовками, обращая внимание на тот факт, что “внутренней необходимостью каждого небошевистского государства является защита от большевистской заразы” [8. Оп. 1. 1934. Д 3–1], стала ясной антисоветская направленность развернувшихся политических игр.

Менее, чем через месяц, 16 марта, лондонское агентство “Week”, комментируя сближение Берлина и Варшавы, увязывало его с позицией, занятой Японией в отношении СССР. При этом обращалось внимание на открытую поддержку Японии британскими кругами, которые отправили делегацию британских промышленников в Манчжоу Го и опубликовали ряд статей в “Times” [8. Оп. 1. 1934. Д 3–1].

Появились также сообщения о том, что британское правительство было занято созданием рычагов экономического воздействия на польских политиков. Учитывая тот факт, что польский бюджет в значительной степени зависел от экспортных пошлин на уголь, Лондон начал проводить политику создания благоприятных условий для польских экспортеров. Впрочем, это скорее была обычная политическая перестраховка, ибо в вопросе о главном векторе польской внешней политики президент Юзеф Пилсудский не потерпел бы со стороны подчиненных никакого своеволия¹².

Для старого, больного маршала складывавшийся “политический преферанс” был своего рода повторением политической комбинации, которую он уже однажды попытался осуществить во время русско-японской войны. 36-летний Пилсудский посетил Токио летом 1904 г. с предложением поднять восстание на польских землях [28. S. 85]. Тогда японские правящие круги не были склонны рассматривать его всерьез, и сотрудничество ограничилось сбором сторонниками Пилсудского за определенную плату разведывательной информации о России для японского Генерального штаба¹³.

В 1930-е годы Пилсудский был склонен относиться к перспективе совместного с Берлином и Токио выступления против Москвы очень серьезно и ответственно. Это не укрывалось от внимания западных дипломатов. В частности,

¹¹ 22 февраля 1934 г. Радзивилл прибыл в Вильно, где встретился с политическим активом из числа местной администрации и польской аристократии и обрисовал новые политические перспективы на востоке в связи с ратификацией пакта Липский Нейрат [8. Оп. 1. 1934. Д-19, 1-а].

¹² Многие польские дипломаты, проявившие несогласие с прогерманским направлением внешней политики Варшавы, были уволены со службы. Среди них можно назвать известного дипломатов Эльмера, а также Бадера, автора книги “Польско-чехословацкие отношения”, изданной в 1938 г. в Варшаве, в которой прогерманский характер политики Бека ставился под сомнение.

¹³ В частности, соратник Пилсудского Витольд Йодко-Наркевич в марте 1904 г. послал из Львова письмо японскому послу в Лондоне Тадасу Хаяши с информацией о дислокации российских войск. К листу был приложен проект воззвания к полякам с призывом дезертировать из российской армии [28. S. 84].

американский посол в Москве В. Буллит писал в июле 1934 г. государственному секретарю К. Хэллу, что Пилсудский отказывается участвовать в Восточном пакте, поскольку ожидает советско-японскую войну и хочет оставить для себя на востоке свободу действий, чтобы “воссоздать там прежнее величие Польши” [29. Vol. V. P. 502]. В целом донесение американского дипломата верно отражало суть политической ситуации в Восточной Европе, однако в одном он недооценил польского маршала – есть основания считать, что тот не просто ожидал советско-японскую войну, а своими действиями на международной арене подготавливал для нее по мере сил и возможностей необходимую почву. Учитывая тот факт, что Москва активно лоббировала в то время идею создания системы коллективной безопасности в Европе, совместная борьба против этой инициативы, т.е. Восточного пакта, стала основой для сближения Варшавы, Берлина и Токио.

8 июля 1934 г. в Польшу с трехдневным визитом для ознакомления с состоянием ее военной подготовки прибыл брат японского императора принц Каноэ, который привез Пилсудскому письмо от бывшего военного министра Японии генерала Араки, в 1932 г. активно выступавшего за начало военных действий против СССР. Японский военный сообщал о намерении напасть на Советский Союз, используя в качестве повода КВЖД, но жаловался на слабость японской авиации, из-за чего войну приходилось отложить по крайней мере до марта–апреля 1935 г. Несмотря на это, Араки предложил: “Если Польша и Германия дадут Японии заверения в том, что они выступят против СССР на следующий день после начала военных действий между Японией и СССР, то Япония достаточно подготовлена, чтобы начать войну немедленно, не дожидаясь срока окончания реорганизации и усиления своей авиации” [30. Оп. 11. Д. 187. К. 81].

У Берлина при всем желании не было возможности в тот момент принять предложение японского генерала, и на то имелись серьезные основания. Германия, не имевшая не только собственных месторождений нефти, но и средств ее транспортировки, полностью зависела от ее импорта. Большая часть мировой добычи нефти находилась в руках английских и американских концернов, которые к тому же в значительной степени, если не монопольно, контролировали ее перевозки на международном рынке. Другими словами нефть, приобретенная Гитлером, например, в Румынии, могла быть доставлена в Германию лишь подвижным составом, принадлежавшим английскому нефтяному картелю. Таким образом, виртуозно используя не только политические, но и экономические рычаги, Даунинг-стрит имел в тот период возможность в значительной степени манипулировать внешнеполитической активностью третьего рейха [31. P. 33].

Не располагая стратегическим нефтяным запасом, фюрер при всей своей ненависти к Москве и большевикам, не мог поддержать милитаристские устремления Токио. Для создания такого запаса требовались кредиты, политическая воля Лондона, а главное – время. Запас можно было создать за шесть–восемь месяцев, т.е. к весне 1935 г. Но досадной головной болью были Л. Барту и М.М. Литвинов с проектом Восточного пакта, поэтому следовало действовать последовательно: сорвать совместными усилиями создание системы коллективной безопасности, Германии запастись горюче-смазочными материалами, японским милитаристам модернизировать авиацию, и только после этого,

не ранее весны–лета 1935 г., серьезно подумать о совместной военной акции против СССР.

27 июля 1934 г. Берлин и Варшава достигли соглашения о противодействии заключению Восточного пакта. В случае его подписания предполагалось оформление военного союза, присоединение к нему Японии и вовлечение в сферу его влияния Венгрии, Румынии, Латвии, Эстонии и Финляндии. 10 августа 1934 г. польское и германское правительства дали словесные заверения японскому посланнику в Варшаве и послу в Берлине в том, что они не подпишут Восточный пакт. В сентябре 1934 г. Варшаву посетила японская военная миссия во главе с начальником авиационной школы генералом Харута. Примерно в это же время И.В. Сталин получил информацию о переговорах, ведущихся между Берлином, Варшавой и Токио. Пилсудский, опасаясь Восточного пакта и усиления позиций СССР в Европе, считал важной задачей напугать Париж возможностью войны на Дальнем Востоке и “показать ему, что СССР Франции не союзник” [30. Оп. 11. Д. 187. К. 81]. В связи с этим всячески приветствовалось провоцирование Японией конфликтов на советской дальневосточной границе и создание напряженности в этом регионе. Это, по мысли маршала, убедило бы французов в невыгодности сближения с русскими. Ю. Бек и начальник Главного штаба Я. Гонсиоровский говорили об этом с японским посланником и военным атташе полковником Ямаваки, который также часто встречался с Пилсудским в его резиденции под Вильно. Для обсуждения военных аспектов сотрудничества предусматривалось провести в октябре 1934 г. в Берлине переговоры, куда бы прибыли японская военная миссия во главе с генералом Ногато и генерал Гонсиоровский. Варшава как место проведения переговоров была отклонена Пилсудским по конспиративным соображениям: “В Варшаве слишком много франкофилов, через которых Москва скоро пронохает в чем дело” [30. Оп. 11. Д. 187. К. 81].

Целенаправленный прояпонский курс Пилсудского незамедлительно принял на вооружение его ближайшее окружение и польский истеблишмент. 18 октября 1934 г. И.В. Сталин получил информацию о внешней политике Польши, из содержания которой следовало, что мнение о возможности войны между Японией и Советским Союзом прочно утвердилось в официальных кругах Варшавы. Именно с расчетом на нее польское правительство планировало свой внешнеполитический курс, намереваясь договориться с Германией. Между Пилсудским и Гитлером обозначилось сближение по таким вопросам как поддержка аншлюса Австрии, присоединение части территории Чехословакии под предлогом объединения немцев и главное – на основе враждебного отношения к СССР. Японская дипломатия неустанно поддерживала убежденность Варшавы в неизбежности японо-советского вооруженного конфликта и настойчиво искала стратегических союзников в Европе¹⁴. Советская разведка также сообщала: “В настоящий момент между Польшей и Германией в Берлине ведутся переговоры о совместных действиях в Европе на случай осложнения на Дальнем Востоке” [30. Оп. 11. Д. 187. К. 111–117]. Высшее германское руководство постоянно поддерживало тесный контакт с японским послом в

¹⁴ Посредническую миссию в поиске союзников для дальневосточного партнера охотно принял на себя Бек, посетивший с этой целью Бухарест. Однако глава румынского МИД Титулеску принял его с прохладцей и отклонил предложение Японии о готовности поставить вооружение Румынии в обмен на нефть, что вызвало раздражение официального Токио.

Берлине. Согласно свидетельству посла Додда, японский посол в Берлине и министр Нейрат были теми двумя единственными персонами, общение с которыми позволял себе в Нейдеке с 11 июля вплоть до кончины, последовавшей 2 августа, смертельно больной президент Гинденбург. Японский посол был одним из немногих дипломатов, который не только посетил, но и выступил на нацистском съезде летом 1934 г. Он также непрерывно афишировал перед дипломатическим корпусом свои постоянные контакты с Герингом, Геббельсом и другими крупными фигурами рейха [10. С. 193, 223, 297, 312].

К осени 1934 г. польско-японское военно-техническое сотрудничество шло уже полным ходом. Советник полпредства СССР в Варшаве Б. Подольский сообщал 11 ноября замнаркома Б.С. Стомонакову, что японский генштаб осуществляет широкое наблюдение за СССР из Прибалтики и Польши, а “польская военная и металлургическая промышленность имеет японские заказы” [7. Т. XVII. С. 828]. Во многом благодаря активности польского торгового атташе в Токио Травинского¹⁵ Япония разместила в Польше заказ на изготовление 100 тыс. винтовок, а также приобрела у нее лицензию на истребитель П-7. Ее предприятия выполняли военные заказы на стальной прокат, бронеплиты, трубы и турбины [7. Т. XVII. С. 828–829].

К этому времени можно было считать также решенным в организационном плане вопрос о создании стратегического запаса нефти для Германии. Американский консул в Гамбурге Эрхардт докладывал в Берлин Додду, что в июле 1934 г. рейхсминистерство экономики представило международным концернам (“Шелл”, “Англо-першн”, “Стандард ойл”) план, по которому в Германию предполагалось ввезти 1 млн тонн нефтепродуктов в кредит на сумму около 250 млн долларов. Цель данного приобретения не была тайной для американского дипломата. С чисто профессиональной проникательностью он объяснил создание этого “национального резерва” – “на крайний случай или, говоря другими словами, на случай войны” [29. Vol. II. P. 323–325]. Следует обратить особое внимание на это свидетельство западного дипломата, который одним из первых официальных лиц, пусть и невысокого ранга, назвал истинные мотивы нефтяной сделки, в которой принимали участие нацисты и западные нефтяные концерны – подготовка войны. Поставку предусмотренного соглашением контингента предполагалось осуществить в течение четырех месяцев после оплаты.

Необходимые для рейха кредиты были предоставлены. 1 ноября 1934 г. в Берлине было подписано англо-германское соглашение, которое “предоставило Германии ту свободную валюту, в которой она так нуждалась для закупок стратегического сырья” [32. С. 29]. В это же время глава англо-голландской “Ройял датч шелл” сэр Генри Детердинг намеревался приехать и повидаться с Гитлером [10. С. 251]. В период с ноября 1934 г. по апрель 1935 г., согласно обязательствам нефтяных компаний, нефть была поставлена, и у рейха появился столь желанный стратегический запас. Это позволяло гитлеровцам закупать вооружение¹⁶ и существенно активизировать подготовку к

¹⁵ В последней декаде июня 1934 г. японская пресса уделяла много внимания его поездке в Осаку и выступлению на совещании деловых кругов, где он призывал к усилению деловых связей между Польшей и Японией [8. Оп. 1. Д 3–1].

¹⁶ 19 сентября Додд сообщал о крупных закупках третьим рейхом авиатехники в США, а 19 октября – о переговорах в Берлине представителей крупнейшего английского военно-промышленного концерна “Армстронг-Виккерс” о продаже Германии военного сырья [10. С. 226, 238].

войне. 26 октября 1934 г. Додд сделал следующую запись: «Ко мне в посольство приходил наш военный атташе полковник Уэст, который часто обзвевает территорию Германии с самолета, и рассказал о проводимых немцами военных приготовлениях. Он десять дней ездил по стране и теперь взволнован: «Война неизбежна, к ней готовятся повсюду»» [10. С. 244].

Казалось бы, что и общая политическая ситуация в Европе с начала 1935 г. также благоприятствовала осуществлению гитлеровских планов. По мнению историка Робертсона, «объявление результатов Саарского плебисцита от 10 января 1935 г. послужило поворотным пунктом в политике Германии» [33. Р. 46]. 25 января Гитлера навестили в Берлине соратник премьера Макдональда по лейбористской партии лорд Аллен и маркиз Лотиан, один из сотрудников Ллойд-Джорджа во время Парижской мирной конференции. По словам германского посла в Лондоне Хеша, «это был самый важный неофициальный британец, который когда-либо встречался с канцлером Гитлером» [33. Р. 54]. Можно предполагать, что британские эмиссары не разубеждали фюрера в том, что он движется верным курсом, обращая свои экспансионистские замыслы на Восток.

К середине февраля 1935 г. многие информированные наблюдатели настолько были уверены в том, что Гитлер с Пилсудским готовят войну против СССР, что не стеснялись говорить об этом польским дипломатам. В частности, этой возможностью воспользовалась 16 февраля 1935 г. известная французская журналистка Ж. Табуи в беседе с пресс-референтом польского посольства в Париже А. Узнанским. Как отмечал польский дипломат, оценки, высказанные Табуи, отличались необыкновенной откровенностью [9. Оп. 1. Д. 79. К. 81]. Она подчеркнула, что после январской декларации 1934 г. компетентные французские политические круги полностью перестали считаться с возможностью существенного улучшения взаимоотношений Франции и Польши, причем этой же оценки придерживались и широкие круги общественности [9. Оп. 1. Д. 79. К. 82].

Одной из причин этих изменений Табуи считала некое тайное польско-германское соглашение, которое якобы было заключено в дополнение к декларации 26 января 1934 г., а также противодействие со стороны польского МИДа «во всех сферах французской политики». В подтверждение своих слов она привела неудачный исход по вине поляков миссии генерала Дебеньи в июне 1934 г., пытавшегося расширить польско-французский альянс, а также тайную германскую военную миссию, которая якобы действовала в Польше. Французская журналистка также говорила о слухах, курсировавших во французском правительстве, о возможном совместном польско-германском нападении на Советский Союз [9. Оп. 1. Д. 79. К. 83–85].

Польские правящие круги, насколько можно судить по документам, не придавали большого значения подобным сообщениям своих дипломатов и весной 1935 г. прилагали значительные усилия, чтобы расширить фронт государств антисоветской коалиции. В начале марта 1935 г. начальник Главного штаба польских вооруженных сил Я. Гонсиоровский предпринял поездку в страны Прибалтики и Финляндию. Финская проправительственная пресса, подчеркивая антисоветский характер этого круиза, указывала на то, что польско-германская дружба устранила ранее существовавшее препятствие к сближению Финляндии с Польшей: «Выполненная в Польше созидательная работа укрепила положение всех тех новых государств, которые на юге от Финского зали-

ва вплоть до границ Румынии находятся в одинаковом с Финляндией положении” [34. Оп. 28 / 2. Д. 42. С. 51–52].

Официальная Варшава предполагала использовать в своих военно-политических комбинациях польское население, проживавшее за рубежом. После заявления Гитлера 16 марта 1935 г. о введении в Германии воинской повинности, II отдел Главного штаба Войска Польского совместно с Консульским департаментом МИД уже 17 марта разработал и утвердил план по созданию законспирированного подполья среди зарубежных польских общин, в том числе в Советском Союзе и Тешенской Силезии, целью которых была организация восстаний, которые можно было бы использовать в качестве повода для начала военных действий [35. С. 3–54].

Одновременно усиливалась напряженность в отношениях СССР и Японии. К концу марта 1935 г. в Москве посчитали необходимым предпринять шаги, направленные на устранение возможного предлога, который можно было бы использовать для начала советско-японского конфликта. 23 марта 1935 г. было подписано соглашение о выкупе японским правительством Китайско-Восточной железной дороги [36. Т. 3. С. 590].

Лидеры некоторых государств догадывались об агрессивных замыслах в отношении Советского Союза, в которые была вовлечена и Польша. Есть основания полагать, что тревожные ожидания охватили чехословацкое руководство, под влиянием донесений поступавших по дипломатическим каналам из Варшавы резонно опасавшегося, что за военными действиями против Москвы может наступить черед и Праги¹⁷. В конце марта 1935 г. из Варшавы был отозван посланник В. Гирса.

К апрелю 1935 г. совместное польско-германское взаимодействие в области “восточных планов” настолько стало заметным, что о нем информировали свои руководства европейские дипломаты. В частности, австрийский посланник в Праге Марек направил главе своего МИД доклад “Положение и развитие гитлеровской системы (к концу марта 1935)”. Этот доклад был подготовлен на основе данных, полученных Марекком через посредника от доктора Отто Штрассера¹⁸. Со ссылкой на утверждения Геринга и Розенберга в нем отмечалось стремление Польши при активном участии Японии, при посильном участии Германии отделить от России Украину; осуществление этой акции обусловит сотрудничество между Польшей и Венгрией против Закарпатской Украины, при благосклонной подстраховке со стороны Германии. Польша заявила, что при взаимном исполнении обязательств она согласна с возвращением Данцига и полосы сочленения с Восточной Пруссией” [34. Оп. 28/2. Д. 42. С. 51–52].

Сближение Варшавы с Берлином не могло не сопровождаться отдалением Польши от Франции. Еще в 1932 г. Пилсудский выводил из Польши французскую военную миссию, в течение 1933–1934 гг. военное министерство Польши прекратило связь с французской военной промышленностью, в частно-

¹⁷ В связи с возможной перспективой отторжения Тешенской Силезии, которую Варшава считала несправедливо переданной ЧСР решением Совета послов от 28 июля 1920 г.

¹⁸ Его брат Грегори, занимавший высокий пост, был уничтожен гитлеровцами в “ночь длинных ножей”. О. Штрассер, долгое время возглавлявший партию “Союз революционных национал-социалистов” и прозванный Гитлером “салонным большевиком”, был вынужден покинуть Германию и осесть в Праге. Находясь в целом на позициях Гитлера и не разделяя лишь некоторых его методов, Штрассер, непрерывно поддерживая связи с германскими нацистами, был хорошо информирован. Он даже налажил в Чехословакии работу радиостанции, которая в январе 1935 г. была уничтожена гестапо [37. С. 777; 38. С. 539–540].

сти с фирмой Шнейдер-Крезю. Польские военные заказы передавались теперь в Швецию и Англию. Если до 1933 г. польские военные суда строились исключительно на французских верфях, то весной 1935 г. значительный заказ был передан английским судостроителям. Пострадала и чехословацкая промышленность – военные заводы фирмы “Шкода” потеряли в лице польского военного министерства своего давнишнего клиента. В 1934 г. польские военные власти не допустили даже директора этой фирмы на принадлежавший ей варшавский завод авиамоторов. Весной 1935 г. пресса сообщила, что польское правительство купило завод у “Шкоды”, уплатив за него 20 млн злотых [39. 6 IV 1935].

Как в нацистской Германии, так и в Польше активно пропагандировалось сближение двух стран. Польская цензура беспощадно изымала статьи, критиковавшие Германию и Гитлера. В частности, в конце марта – начале апреля 1935 г. был конфискован тираж газеты “Polonia”, напечатавшей о желании Гитлера отторгнуть от Польши данцигский коридор [39. 6 IV 1935]. Нацистские же газеты целенаправленно приучали немцев к мысли, что польско-германское боевое содружество – вполне нормальная и, главное, взаимовыгодная вещь, если оно будет реализовано на советских просторах. Газета “Völkischer Beobachter” откровенно писала: “Лишь немногие политики в Польше понимают в настоящее время, что Германия имеет на востоке интересы, которые ни в какой мере не должны быть направлены против польских интересов. Вовсе не нужно, чтобы силы Германии и Польши были противоположны друг другу в обширном восточном пространстве; они вполне могут быть согласованы” [39. 15 II 1935].

Постепенно приближалось время подводить итоги: совместными, в том числе польско-германскими, усилиями проект Восточного пакта был похоронен; после возвращения из Варшавы генерала Харута и закупки лицензии у Польши на производство истребителя П-7 в Японии полным ходом шла реорганизация ВВС; на Дальнем Востоке участились провокации на советской границе; Берлин запас впрок долгожданный “национальный резерв” нефти. Теперь можно было переходить и к непосредственному военному взаимодействию.

Газета “L’Echo de Paris” воспроизвела 7 апреля 1935 г. сообщение базельской газеты “National Zeitung”, согласно которому 25 офицеров рейхсвера отправались в Варшаву в качестве военных инструкторов польской армии [39. 8 IV 1935]. Ожидалось также прибытие в Берлин 70 японских офицеров для координации деятельности с германским командованием [10. С. 324]. Проблемы координации по вопросам военного сотрудничества начинали приобретать актуальность, так как вторжение Японии в Россию с востока предполагалось, по некоторым данным, в течение второй половины 1935 г.¹⁹

Одновременно Гитлер в течение февраля – апреля 1935 г. начал тонкую игру по созданию польско-германского “воздушного пакта”. На свой лад интерпретировав лондонское соглашение от 1 февраля 1935 г.²⁰, фюрер на обеде,

¹⁹ Послу Додду сроки предполагаемой агрессии назвал американский посол в Москве Булит. Сталину же, из кругов, близких к Чан Кайши поступала информация о том, что Япония собиралась начать бомбардировки Владивостока еще в июне–июле 1934 г. [30. Оп. 11. Д. 187. К. 24; 10. С. 464].

²⁰ Это соглашение, подписанное министрами иностранных дел Франции и Англии – П. Лавалем и Д. Саймоном, предусматривало расширение в рамках Локарно сотрудничества в воздушной области при условии возвращения Германии в Лигу наций. Гитлер возвращаться в Лигу не собирался и намеревался реализовать авиационное сотрудничество с Варшавой в “восточном направлении”.

проходившем 12 февраля у папского нунция Цезаря Орсениго, предложил польскому послу Липскому присоединиться к “воздушному пакту” [3. S. 234; 17. S. 162]. В Варшаве с интересом восприняли эту идею. 21 февраля польский посол передал Нейрату “высокую оценку” Беком “искреннего предложения канцлера рейха”.

25 апреля 1935 г. проект создания польско-германского “воздушного пакта” вступил в качественно новый этап. В этот день Липский встретился с новоиспеченным командующим нацистскими “люфтваффе” Г. Герингом в его охотничьей резиденции Шорфхейде. “Железный” Герман в свойственной ему манере сразу “взял быка за рога” и заявил польскому дипломату, что фюрер поручил ему осуществление *специальной* опеки над польско-германскими отношениями независимо от обычных дипломатических контактов. Заметив, что эта новость слегка ошеломила гостя, хозяин любезно пояснил, что речь вовсе не идет о недоверии Гитлера к Нейрату, а просто чиновники германского МИД “не слишком корректно проводят линию канцлера в отношении Польши”. Затем он подчеркнул, что проводимая политика “продиктована отнюдь не тактическими соображениями, а следует из *очень глубокой* (курсив мой. – С.М.) трактовки этой проблемы. На этом направлении канцлер не допустит каких-либо вывертов”. Геринг упомянул об “опасности, грозящей Польше и Германии со стороны СССР”, и заметил, что в связи с ней проблемы “коридора” в польско-германских отношениях вовсе не существует. В заключение разговора собеседники согласились, что нынешний уровень проблем двусторонних отношений предполагает их обсуждение между Гитлером и Беком, а факт визита польского министра иностранных дел в Берлин следует предать широкой огласке [3. S. 234; 17. S. 162].

Через неделю, 3 мая, Нейрат, выслушав пояснения Липского касательно двузначной позиции Польши в Женеве, заметил, что фюрер буквально несколько часов назад вспоминал “о необходимости поддерживать дружбу с Польшей”. После чего дипломаты перешли к обсуждению деталей предстоящего визита в Берлин польского министра иностранных дел. Завершив беседу, Липский почти сразу же поспешил в Шорфхейде, чтобы от имени Бека выразить Герингу удовлетворение в связи с его новым статусом опекуна над польско-германскими отношениями, а также сообщить о согласии главы польского МИД нанести визит Гитлеру [3. S. 510–514; 17. S. 186].

Польские чиновники во дворце Брюля²¹, посвященные в тонкости замыслов своего руководства, должны были отметить – заключение польско-германского “воздушного пакта” можно было считать вопросом времени. Не сегодня, так завтра Варшава окончательно договорится с Берлином, и тогда содержавшееся в сентябрьском 1933 г. докладе экс-министра иностранных дел князя Э. Сапеги утверждение о готовности “режима санации” к совместному польско-европейскому хозяйственному освоению Сибири [13. 6.09.1933; 18. С. 122–123] может воплотиться в жизнь. Фигура ближайшего гитлеровского сподвижника, премьер-министра Пруссии и по совместительству командующего “люфтваффе” Геринга была столь внушительна и могуча, что вряд ли у кого могли возникнуть сомнения относительно успешного завершения возглавляемого им предприятия.

²¹ Особняк в Варшаве, расположенный на улице Вежбовая, где находилось министерство иностранных дел Польши.

Учитывая вышеприведенные обстоятельства, факт тайного заключения польско-германского договора от 25 февраля 1934 г., опубликованного в “Правде” и “Известиях”, уже не представляется чем-то фантастическим. Более того, при внимательном анализе этого текста выявляется еще один аспект. На первый взгляд, это договор между двумя государствами о тесном политическом сотрудничестве в мирное время, который автоматически превращается в военно-политический союз при форс-мажорных обстоятельствах. Однако при более углубленном изучении становится ясно, что он мог быть своеобразным графиком предстоящих совместных действий, прямо зависящих от грядущей активности третьей стороны. В соответствии с вышеизложенным текстом, данная стратегическая операция должна была проводиться в три этапа. Предполагалось, что действия на первом этапе происходили бы в мирное время и заключались в тесном сотрудничестве и взаимодействии по внешнеполитическим вопросам, исключая всякую самодеятельность польской стороны. Этот этап совпадал с первой и второй статьями договора.

Второй этап предполагал совместные действия в условиях, когда, согласно ст. 3, могли произойти события, угрожавшие status quo, например, нападение Японии на Советский Союз или “восстание” населения на его западных границах. В этом случае “высокие договаривающиеся стороны снеслись бы друг с другом, чтобы договориться о мерах, которые они сочли бы полезным предпринять”. Объединив свои военные и экономические силы для отражения неспровоцированного нападения (указание на это было призвано на всякий случай засвидетельствовать оборонительный характер создававшегося союза), “высокие договаривающиеся стороны” оказали бы друг другу поддержку: германским войскам разрешалось без всяких помех пройти по польской территории для нанесения удара по западным и северо-западным территориям СССР. Военные действия этого немирного этапа на территории Литвы и Советской Украины завершила бы ст. 6 договора, в соответствии с которой Германия гарантировала всеми средствами нерушимость *новых* польских границ.

Затем вновь наступил бы мирный этап, соответствующий ст. 7 договора. Ее можно интерпретировать как переход к мерам по перекройке карты Европы – речь могла идти о том, что Гданьск отходил бы Германии, а Украина – Польше. По всей видимости, освоение новых территорий создало бы новые экономические и военно-политические условия для нацистов и их польских партнеров, и потребовало усиления “эффективности их общих оборонительных средств”. Ст. 8 носила формально-процедурный характер и устанавливала максимальный четырехлетний срок действия секретного договора с даты обмена ратификационными грамотами, которая на настоящий момент неизвестна. Если предположить, что это произошло в 1934 – начале 1935 г., то срок действия этого секретного договора истек в 1938 – весной 1939 г.

Так или иначе, но мировая общественность и политики, прежде всего французские, получили презанятнейший документ для последующих размышлений. Следует особо отметить дату его опубликования. Обнародование секретного польско-германского договора 20 апреля стало своеобразным “подарком” Сталина Гитлеру к дню его рождения. Как бы то ни было, французская, а за ней советская стороны сделали серьезный шаг для того, чтобы обнародовать тайные замыслы группы партнеров, намеревавшихся сыграть по своим правилам.

Независимо от того, существовал ли этот договор только на страницах “Bourbonnais republicain” и центральных советских газет, или же его экземпляры находились на хранении в специальных сейфах в рейхсканцелярии и резиденции Пилсудского, французским политикам следовало просчитывать возможные последствия подобного альянса (ведь политика – это искусство возможного). Если бы Берлину при участии Варшавы и других стран удалось разгромить СССР и навязать ему свой мирный договор, то следующим объектом нападения неминуемо стал бы Париж, ибо Лондон отделен от континентальной Европы Ла-Маншем.

Если на тот момент к усилиям министра Бека выглядеть представителем великой державы французские политики были склонны относиться с определенной долей иронии, то, получив в свое распоряжение хлеб, уголь и заводы Украины, он действительно мог стать сильным. Неумение и нежелание польских политиков из команды Пилсудского, получивших государственную независимость из рук Антанты, договариваться с западными лидерами по их правилам во время Парижской мирной конференции настроили Лондон и Париж весьма скептически в отношении Варшавы. А независимое поведение Пилсудского в период “пакта четырех” свидетельствовало о том, что со слишком сильными поляками могут возникнуть новые проблемы. Стратегические интересы Франции не допускали не только усиления Гитлера при помощи Пилсудского, но и серьезного устранения России с европейской сцены. Ведь в последнем случае, даже по признанию американского дипломата, Франции угрожала бы утрата великодержавного статуса [10. С. 334]. При наличии столь тревожных известий, каковые были преданы гласности депутатом Ламуре и перепечатаны центральными советскими газетами, Франции ни в коем случае нельзя было пренебрегать таким ценным союзником как Россия.

Поместив 23 апреля на страницах полуофициальной газеты “Le Temps” под рубрикой “Свободная трибуна” статью Луи де Вьена “Quo vadis, Polonia? (“Куда идешь, Польша?”) [40. 23 IV 1935] и не обратив внимания на весьма озадачившее польскую печать неожиданное заявление Гитлера о готовности присоединиться к Восточному пакту [41. 15, 22 IV 1935], Париж 2 мая 1935 г. подписал с Москвой договор о взаимопомощи. Он обязывал обе стороны в случае неспровоцированной агрессии немедленно оказать друг другу помощь, независимо от решения третьей стороны, т.е. находившейся под сильным влиянием Лондона Лиги наций. 16 мая подобный договор Москва заключила и с Прагой, которая, как и следовало ожидать, обусловила начало его действия предварительным согласием Парижа.

Оба эти документа коренным образом меняли ситуацию в европейской международной политике и, прежде всего, ставили жирный крест на захватнических планах потенциальных агрессоров напасть в течение 1935 г. на Советский Союз. Вполне закономерно возникновение вопроса о том, насколько реальной была угроза Москве с их стороны? Существовали ли в принципе подобные планы и в чьих интересах они были? К сожалению, не все имеющиеся в архивах документы, отражающие замыслы Берлина при участии Варшавы в отношении предполагаемого отчуждения российских просторов в 1934–1935 гг., доступны на настоящий момент, однако рассмотренные нами выше факты дают основания предполагать, что такие планы существовали, и угроза Москве в тот период была реальной.

Таким образом, несмотря на свертывание западноевропейскими политиками курса Барту на создание системы коллективной безопасности, угроза со стороны закамуфлированного польско-германского союза была в 1935 г. столь ощутимой, что Париж был вынужден скорректировать свою позицию и пойти на заключение советско-французского союза о взаимопомощи. Хотя глава МИД Франции тесно взаимодействовал с министром иностранных дел Англии Саймоном, и они занимали в отношении Германии близкую позицию, французские правящие круги должны были предпринять соответствующие меры, чтобы застраховать себя от возможных последствий польско-германских “восточных планов” и сохранить Россию как стратегического союзника. В этом заключалось коренное различие в подходах французских и британских правящих кругов: если Англия стремилась отвести германскую угрозу от своих колоний, то Франция стремилась не допустить нанесения политического ущерба России, своему единственному стратегическому союзнику. Реализация тайных “восточных планов” официальной Варшавы находилась в тесной зависимости от внешней политики третьего рейха, однако после заключения советско-французского договора о взаимопомощи 2 мая 1935 г. нацисты были вынуждены отказаться от скорой реализации восточных замыслов. После смерти маршала Пилсудского, последовавшей 12 мая 1935 г., среди его соратников, оставшихся у руля внешней политики, не нашлось человека, который решился бы на радикальное изменение ее курса. Поляки недооценили Гитлера, сделали ставку на разрушение Чехословакии и создание так называемого “нейтрального блока” “интермариум” с Венгрией и другими странами, полагая, что фюрер согласится на общую польско-венгерскую границу. Время показало несостоятельность этих планов – Гитлера им перехитрить не удалось.

Возможно, документы и факты, приведенные в данной статье в связи с секретным польско-германским договором, опубликованным в “Правде” и “Известиях” 20 апреля 1935 г., покажутся недостаточно убедительными, ведь его текста в архивах пока обнаружить не удалось. Тем не менее, сам факт публикации его в центральных советских газетах – *официальном* органе ЦК ВКП(б) и *официальном* органе Верховного Совета СССР – свидетельствовал, на мой взгляд, о наличии у советского руководства серьезных доказательств его существования. Перепечатка заведомой фальшивки была бы слишком рискованным политическим ходом, способным не только резко усилить напряженность в отношениях с западным соседом – Польшей, но и вызвать негативный отклик в других странах, затруднив осуществление внешней политики СССР.

Весьма убедительным фактом в пользу существования этого документа было отсутствие ноты протеста со стороны польского посольства в Москве и польского МИД в Варшаве в связи с его публикацией, хотя оппозиционный “Kurjer Warszawski” и близкий к правительству “Ilustrowany Kurjer Codzienny” сообщили 23 апреля об этом в телеграммах своих парижских корреспондентов, называя опубликованный текст договора “фантастическим вымыслом”. “Kurjer Warszawski” и “Gazeta Warszawska”, опровергая его достоверность, не могли не признать, что поведение польской дипломатии за последнее время содействовало возникновению подобных догадок относительно польско-германских отношений, в результате чего французы перестали считаться с тем, что Польша является их союзником. Реакция официальной “Gazeta Polska” последовала лишь 25 апреля 1935 г. – она опровергла не факт существования, а только текст тайного польско-германского соглашения, появившегося во французской печати и намекнула, что инспиратором этой информации был СССР [34. С. 70–72].

Немаловажным представляется мнение главы германской военной контрразведки, сподвижника адмирала Канариса Р. Проце. Оно позволяет предположить, что к декларации Липский–Нейрат прилагалось не одно, а, по меньшей мере, два секретных приложения. “Наш фюрер заключил в 1934 г. договор дружбы с Польшей, который исключил Польшу из числа врагов Германии ценой отказа от достижения взаимопонимания с Россией. Он отдал угрозу раздела Польши на неопределенное время и позволил Гитлеру продолжать играть свою роль истинного врага большевизма. Секретная статья договора 1934 г. запрещала любой из сторон вести разведывательную деятельность друг против друга, и предполагала обмен информацией”. Собрав своих начальников подразделений и ознакомив их с распоряжением Генерального штаба, Канарис устно его дополнил: “Само собой разумеется, мы продолжаем вести работу” [42. Р. 10–11].

Непосредственным архивным свидетельством существования секретных дополнений к польско-германской декларации от 26 января 1934 г. можно считать, на мой взгляд, донесение И.В. Сталину из Парижа от агента, связанного с сотрудниками французского МИД. В соответствии с ним, весной 1934 г. прибалтийские государства получили сведения о том, что секретные статьи польско-германского соглашения предусматривали раздел не только Украины, но и Прибалтики. Их руководства конфиденциально обратились к министру Л. Барту с просьбой выяснить в Варшаве, соответствуют ли эти сведения действительности. После возвращения Барту из Варшавы в Риге уверились в том, что “Польша в предвидении крупных внутренних затруднений в России действительно заключила тайное соглашение с Германией на предмет совместных действий, угрожающих также и Прибалтике” [30. Оп. 11. Д. 187. К. 17, 19].

Прямым документальным свидетельством существования в том или ином виде тайной польско-германской договоренности есть основания считать также беседу наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова с французским послом в Москве Ш. Альфаном, состоявшуюся 20 апреля 1934 г., о том, что тайная польско-германская договоренность была облечена в форму обмена письмами между Гитлером и Пилсудским [7. Т. XVII. С. 277–278].

Можно выдвинуть гипотезу, что текст (или, что так же возможно, подготовленный проект) секретного польско-германского договора от 25 февраля 1934 г. был добыт советской разведкой, имевшей агента в ближайшем окружении польского министра иностранных дел Ю. Бека [30. Оп. 11. Д. 187. К. 28]. Когда в течение марта – апреля 1935 г. проявилась склонность французского руководства к проволочкам в деле подписания советско-французского союзного договора, И.В. Сталин распорядился передать имевшийся в его распоряжении текст по агентурным каналам во Францию для его публикации в средствах массовой информации. Для того чтобы рассеять сомнения французского руководства в том, что они имеют дело с фальшивкой и убедить их в истинной значимости этого документа для будущего Франции, текст секретного польско-германского договора был размещен на первой странице центральных советских газет.

Опубликование текста секретного польско-германского договора на страницах “Правды” и “Известий” автоматически придало ему статус официально опубликованного документа, на достоверности которого в апреле 1935 г. настаивало высшее советское руководство.

Нам представляется, что вводимые в научный оборот документы, в том числе архивные, способны внести определенные коррективы в устоявшиеся

стереотипы, дать более полное представление о той реальной политике, которая проводилась в русле так называемой концепции “равноудаленности”, провозглашенной режимом Пилсудского в начале 1934 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сборник документов по международной политике и по международному праву. М., 1936. Вып. X.
2. Документы международных отношений (1917–1945). М., 1999.
3. *Diariusz i teki Jana Szembeka*. Londyn, 1964. T. I.
4. *Климовский Д.С.* Германия и Польша в локальной системе европейских отношений. Из истории зарождения второй мировой войны. Минск, 1975.
5. Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 027.
6. *Documents on British Foreign Policy*. London, 1957. Ser. 2.
7. Документы внешней политики СССР. М., 1971.
8. Научный архив Института российской истории РАН.
9. Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 15.
10. *Дневник посла Додда*. 1933–1938. М., 1961.
11. *Kozański J.* Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932–1938. Poznań, 1964.
12. *Внешняя политика Чехословакии 1918–1939*. М., 1959.
13. *Известия*.
14. *Правда*.
15. *Морозов С.В.* Польско-чехословацкие отношения. 1933–1939. Что скрывалось за политикой “равноудаленности” министра Ю.Бека. М., 2004.
16. *Polityka* (Warszawa).
17. *Wojciechowski M.* Stosunki polsko-niemieckie 1933–1938. Poznań, 1965.
18. *Мухомина И.В.* Советско-польские отношения 1931–1935. М., 1977.
19. *Teichova A.* An Economic Background to Munich. Cambridge, 1974.
20. *Colvin I.* Vansittart in Office. An historical Survey of the Origins of the Second World War based on the papers of Sir Robert Vansittart. London, 1965.
21. *Ickes H.L.* The Secret Diaries of Harold L. Ickes. New York, 1953.
22. *Mackinder H.J.* The Geographical Pivot of History // *Geographical Journal*. 1904. Vol. XXIII. № 4.
23. *Mackinder H.J.* Democratic Ideals and Reality. Washington, 1996.
24. *Documents on German Foreign Policy*. London, 1957. Vol. I. Ser. C.
25. *Десятков С.Г.* Формирование и развитие английской внешней политики попустительства и поощрения агрессии в 1931–1940 гг. Дис. на соиск. уч. степ. д-ра ист. наук. М., 1981.
26. *Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik*. Baden-Baden, 1956. Bd. VII. Ser. D.
27. *Реутов Г.Н.* Правда и вымысел о второй мировой войне. М., 1970.
28. *Garlicki A.* Józef Piłsudski 1867–1935. Warszawa, 1990.
29. *Foreign Relations of the United States*. 1934. Washington, 1951–1952.
30. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 558.
31. *Medlicott W.H.* The Economic Blockade. London, 1952. Vol. 1.
32. *Десятков С.Г.* Уайтхолл – инициатор мюнхенской политики // Мюнхен – преддверие войны. М., 1988.
33. *Robertson E.M.* Hitler's Pre-War Policy and Military Plans, 1933–1939. London, 1963.
34. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 4459.
35. *Badziak K., Matwiejew G., Samuś P.* “Powstanie” na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP. Warszawa, 1997.
36. *История дипломатии*. М.; Л., 1945.
37. *Залесский К.А.* Кто был кто в третьем рейхе. М., 2002.
38. *Энциклопедия третьего рейха*. М., 1996.
39. *Гудок*.
40. *Le Temps*.
41. *Последние новости*.
42. *Colvin I.* Master Spy. The incredible story of admiral Wilhelm Canaris, who, while Hitler's chief of intelligence, was a secret ally of the British. New York; London; Toronto, 1952.



© 2005 г. В. И. КОСИК

“КЪСМЕТ КОСМЕТА”.
(О СУДЬБЕ КОСОВА И МЕТОХИИ)

*Памяти академика Али Хадри
късмет – судьба, рок, фатум*

Космет – что это такое? С одной стороны – уродливое обрезание двух исторических названий сербских областей. С другой – напоминает бормотание Кассандры. Немного из исторической памяти. Обращаясь к судьбе Метохии, нетрудно проследить ее албанизацию только на примере топонимики. В XIX в. к топонимике обращался А.А. Башмаков, который в своей статье о славянском характере этого края приводит список из 539 названий населенных пунктов. Подавляющее преобладание “чисто сербских имен” этих пунктов, где албанских названий набирается лишь 20–30, позволяло утверждать автору о древнесербском характере Метохии [1. С. 113.] Такая же ситуация была и в Косово [2. С. 167].

Теперь напоминание первое: после 1912 г. Космет был разделен на 4 округа: призренский, метохийский, косовский и звечанский, последний в 1923 г. стал именоваться рашко-звечанским. После королевской реформы 1929 г. территория Космета была разделена между тремя бановинами – Вардарской (приштинский, гниланский, качаничкий, призренский, подгорский (Драгаш), урошевачкий срезы (районы), Зетской (источкий, джаковичкий, подримский, печский, дреничкий, косовомитровачкий срезы), Моравской (лапский и вучитрнский срезы). При этом ни в одной бановине албанцы не составляли большинства населения. Напоминание второе: в 1921 г. в Косове проживало 552 664 человека, из которых 331 549 указало, что их родным языком является албанский (“арнаутский”) (60.1%), 189 170 – сербский (32.6%). 40 345 человек принадлежали к другим национальностям. По вероисповеданию: 379 981 человек – исповедовали ислам (68.9%), 150 745 – православную веру (27.3%), 20 568 – римско-католическую веру (3.7%) [3. С. 259]. Далее, судя по статистике 1920 г., албанцы в косовском округе составляли 63.9%, в звечанском – 60.5%, в призренском – 65.9%, в метохийском – 80.8%. Самая неблагоприятная для сербов ситуация сложилась на косовской равнине: в дреничском срезе – 8.1%, лабском – 9.6%, качаничком – 2.2%. В пограничных районах положение было и того хуже:

Косик Виктор Иванович д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

“Хас – 100% арнаутов, в Джаковице – 3.2% сербов”. Число всех “арнаутов” в косовском округе составляло 102 270 человек, а сербов – 47 185. В метохийском округе “арнаутов” было на 35 тыс. больше, чем сербов. При этом в Белграде понимали, что плодovitость албанок только возрастет, когда в Космете воцарится “мир” [3. S. 261]. Еще немного статистики. По переписи 1939 г., проведенной срезскими начальниками, Косово насчитывало 645 017 жителей, что превышало на 92 943 человека результат переписи 1931 г. При этом неславянских жителей было 422 827 человека (65.6%), славянских 162 896 (25.2%), переселенцев – 59 294 (9.2%). [1. S. 260]. По другим данным, приведенным в докторской диссертации М. Обрадовича “Аграрная реформа и колонизация в Косово 1919–1941”, в Косово до 1939 г. переселилось 11 383 семьи (53 884 человека). Больше всего было из Черногории – 7 432 семьи (53, 32%), потом – из Сербии, Герцеговины, Лики и пр. Они получили 50 289 50 га земли. К этому следует добавить, что еще 2 721 семья получила 8 027, 01 га земли как исполщики, арендаторы и т. д. До 1936 г. с помощью государства было построено новыми землевладельцами 8 700 домов. У албанцев было откуплено или отнято 228 080 га земли [3. S. 263–264]. Безусловно и то, что колонизация и насилия над “шиптарами” толкали многих на эмиграцию. Так, начальник Звечанского среза П. Кузманович в письме к королю (10 марта 1930 г.) сообщал, что за время его начальства выселилось невозвратно в Азию 32 тыс. арнаутов, “опасных для нашей страны”, и около 6 тыс. выехало в Албанию [3. S. 260]. Напоминание третье: проблема Космета напрямую связана и вплетена в историю Албании. В ноябре 1921 г. было принято решение о ее независимости в границах 1913 г. Определение границ между Королевством сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС) и Албанией было завершено в 1925 г. Югославские военные части ушли с ее территории только в декабре 1921 г.

При этом следует помнить, что Белград в Албании поддерживал ее властелин Ахмед Зогу, который в 1923 г. образовал правительство. Однако в середине 1924 г. новый кабинет сформировал епископ Фан Ноли, выступавший за политические и социальные реформы. Король Зогу был вынужден искать защиты у сербов и русских. 17 декабря 1924 г. отряд русских офицеров – две боевые роты под командой полковника Миклашевского – вместе с отрядом короля Зогу (ок. 300 человек) разбили мятежников и 24 декабря вошли в Тирану [4. С. 163]. И тем не менее влияние в Албании надо было делить с Римом, имевшим свои виды и утвержденные международным соглашением “особые права” на эту средиземноморскую страну. Тем более, что сам Зогу все больше ориентировался на Италию, от которой ожидал более щедрой экономической и финансовой помощи, чем от бедного славянского Белграда. В ноябре 1926 г. был подписан акт “О дружбе и безопасности”, по которому Италия заявляла права хозяйки Албании.

Напоминание четвертое и последнее: проблема Космета увязана с революцией, национально-освободительным движением, с мечтой о создании Великой Албании. И здесь главную роль, как мне представляется, играли не столько более или менее организованные силы албанского сопротивления, сколько сама албанская “почва”, на которой в то смутное время особенно пышным цветом взрастали “свободные” “главари”, испытывавшие наслаждение от “поэзии собственной силы”, позволявшей творить суд и расправу во время набегов на сербские территории и схваток с противником. Революционеры были представлены такими личностями как Хасан Приштина и Байрам Цури. Пер-

вый в 1924 г. выступал в Лиге Наций о терроре над албанцами белградского режима. Написал две книги об этом. В феврале 1933 г. для координации действий он встречался в Будапеште с будущим главой “независимой” Хорватии А. Павеличем, а затем в апреле в Софии или близ болгарской столицы имел встречу с известным В. Михайловым из Внутренней македонской революционной организации (ВМРО). По мнению сербского историка П.Дж. Иванова, названные здесь лица обсуждали планы нападения на королевскую Югославию [5. С. 105, 110]. В августе того же года Х. Приштина был убит в Солуни агентами Зогу. Его останки в 1977 г. были перенесены из Греции в Албанию и преданы земле с высшими государственными почестями. Второй – Б. Цури – переписывался с Лениным, а С. Радич характеризовал его как “неустрасимого защитника албанской независимости” [3. С. 251–252]. Эти борцы за новую Албанию, за права албанского населения в королевстве Александра Карагеоргиевича были в числе тех, кто играл видную роль в основании и руководстве Комитета национальной обороны Косова (далее – КК), который был основан в Албании в начале XX в.

Достижение своих целей, судя по всему, увязывалось ими с разрушением власти Белграда в многонациональной стране, где было много недовольных сербской властью. Так, ВМРО поддерживало дружественные отношения с КК, “закрепленные договором о взаимной поддержке” [6. С. 123]. В ноябре 1920 г. они заключили соглашение о совместной борьбе с Белградом за присоединение Космета к Албании, а Македонии – к Болгарии. В январе 1924 г. был уже подготовлен план по поднятию восстания в Космете и Македонии, но потом болгары отказались от этой идеи [5. С. 104].

Теперь о “почве”, рождавшей качаков, этих своеобразных албанских робингулов, но без романтического ореола. Качак – это и мятежник, и грабитель, и защитник. Это – и профессия. Все вместе – гремучая смесь, угрожавшая сербскому миру в Космете и не раз его взрывавшему. При этом надо помнить три мотива.

Первый: нападения и убийства, чинимые качаками или немирными албанцами, были зачастую не столько мщением тому или иному личному врагу, сколько средством сопротивления племенному неприятелю – государству, персонализированному в сербстве, в органах власти, жандармах, армии. Второй: стремление к славе самого сильного, самого смелого, самого удачливого: “Садик Рама хочет плату, и чтобы никто не совался в его район. Хочет сам быть пашой. Мехмед Коньухи думает, что он не слабее в Лабе, по сравнению с Бейтом в Дренице. Бечир Реджа думает, что он в Метохии сильнее обоих”. Третий: защита личной свободы, своего “я”, своего выбора: “Как только кто-нибудь вызывается в суд или в администрацию, он бежит в качаки, призывают в армию, он уходит в качаки, когда он недоволен общиной, когда ему надо еда есть свой хлеб и сидеть дома, он тоже уходит в качаки” [5. С. 98].

Период первых послевоенных лет характерен не только качакскими акциями, но и их так называемой “пацификацией”. В 1921 г. МВД объявило им общую амнистию, но настоящие качаки сдавались трудно. Большинство их перебежало в Албанию. Потом последовала операция по зачистке, во время которой было много невинных жертв. По сути это была акция по разоружению населения. Но она не дала немедленных результатов [5. С. 93–94]. С целью “умиротворения” населения власти шли даже на введение своеобразного заложничества всей семьи, села за “антиправительственные действия” одного из

членов семьи или жителя деревни. В 1919 г. был жестоко подавлен мятеж в окрестностях Печи, сопровождавшийся массовыми арестами и выселением албанцев.

Самыми знаменитыми качаками на Косове были Азем Бейта Галица (1889–1924) и его вторая жена Шота Галица (1895–1927), ставшие героями албанского населения. Он, у которого полиция убила жену и детей, боролся с армией, с жандармами, но не против сербов, среди которых имел много друзей. Когда в 1923 г. Н. Пашич временно амнистировал качаков, благодаря им сербская радикальная партия победила на тогдашних выборах в Косове. Тогда Галица получил под свою опеку от власти три села, а также для себя дом-башню, который раньше был разрушен бомбардировкой [3. С. 249].

Качаки были в Космете почти везде, больше всего в Печском срезе, Джаковице и окрестностях, в Метохии и др. местах. При этом жандармы, набранные из арнаутов, сами занимались грабежом. Так, один из районных начальников писал: “Таф Казия, майор и командир одного батальона, собрал около себя всех разбойников и грабителей... при этом все они собрались под его начало, чтобы избежать наказания за преступления” [5. С. 97]. Ситуация была такова, что фарс в Космете превращался в фарс в Белграде. Так, каждый март газеты в Белграде предупреждали о готовящихся новых выступлениях “комитско-разбойничих элементов”. Используя страх перед ними, два молодых кинематографиста Б. Токин и Д. Алексич по идее писателя Б. Чосича задумали снять немую комедию “Качаки в Топчидере”. В 1923 г. съемки начались, но вскоре были прекращены по техническим причинам [3. С. 249]. Только летом 1924 г., когда был принят очередной декрет об амнистии, охватывавшей широкий ряд преступлений, качакское движение пошло на спад. Этому содействовали и корректные отношения с Албанией, ликвидация нейтральной зоны на границе с Албанией, в которой укрывались качаки, а также жесткая, грубая политика властей, имевшая свои методы борьбы с врагами государства. Неприятелей Королевства СХС поддерживали только Коминтерн и коммунисты, которые на своем VI съезде в 1928 г. (Дрезден) подчеркнули, что албанский народ в стране находится “под властью великосербской буржуазии” [3. С. 252]. Но само их влияние в Космете было незначительным: патриархальность жизни, замкнутость устоев, определенная ксенофобия плохо уживались с коммунистическими идеями и их проводниками сербами. Албанцами они воспринимались прежде всего как соплеменники их угнетателей. Именно о таких в начале 1920-х годов сказал депутат Народной скупщины Любомир Кунджич из Джаковицы, что лучше быть жандармом в южных краях, нежели министром полиции в Белграде. Одним из тех, кто остро негодовал против террора над албанцами, был и небызвестный Пуниша Рачич, который в 1928 г. убил Степана Радича [3. С. 253]. Для него тогда, в 1921 г., “дикий” албанец был менее опасен, нежели “культурный” хорват.

Хотя у “дикого арнаута” тоже были свои причины для недовольства своим положением в новом государстве сербов, хорватов и словенцев. Колонизационная политика, связанная с “обрезанием” земли, рождала только ненависть к власти Белграда. Так, в 1920 г. власти в ходе аграрной реформы пошли на выделение 62 991 га колонистам, расселявшимся в Космете и в Македонии [7. С. 38]. Спустя почти двадцать лет в докладе министерства армии и морского флота Королевства Югославии (апрель 1939 г.) констатировалось: “Арнауты недовольны положением, в котором находятся в нашем государстве. Это

факт, который не может быть опровергнут... Изъятие земли у албанцев, как и сознание того, что они на нашей территории являются постоянно нежелательным элементом, непременно повлечет за собой расширение пропаганды в пользу Италии... Эта ситуация могла бы быть нейтрализована двумя способами: скорейшим выселением с нашей территории или удовлетворением их требований в материальной сфере”. Однако ни один из этих методов так и не был реализован по причинам внешне- и внутривосточного характера. Соответственно, проблема оставалась. Спустя год генерал Б.С. Илич в своем докладе от 10 сентября 1940 г. мягко писал, что “недовольство” этого народа, хотя следует говорить о его озлобленности, в основном было вызвано как “бессовестным, неспособным и частично коррумпированным чиновничеством”, так и несправедливостями, допущенными в ходе решения аграрного вопроса [3. С. 284–285].

Тем не менее у албанского населения в Космете были свои, родные по крови, духу и языку, защитники. Здесь можно назвать Джемаетскую партию, которая вначале даже сотрудничала с сербскими радикалами, заинтересованными в электоральных голосах албанцев. Однако эта неестественная коалиция довольно быстро распалась, а сама партия была запрещена в середине 1920-х годов якобы из-за своей подрывной деятельности. Один из ее лидеров Ферхат-бег Драга, резко критиковавший политику сербского Белграда по отношению к албанскому населению, был осужден на 100 лет, но все же это было угрозой, так как прошло совсем немного времени и он был выпущен из тюрьмы [3. С. 253]. Позже он сотрудничал с итальянской тайной службой, в 1938 г. встречался в Италии с Б. Муссолини. По приказу из Италии Драга поддерживал на выборах в 1939 г. М. Стоядиновича [3. С. 271]. Необходимо подчеркнуть, что Италия наиболее приуспела в приручении албанцев. Многие соглашались сотрудничать с ней, понимая это как патриотический поступок в борьбе за объединение Косова с матерью-родиной. Сами итальянские политики, в частности, министр иностранных дел Чиано, полагали, что Косово – это “нож, нацеленный в хребет Югославии”. Связанный с итальянской секретной службой албанский дипломат в Белграде Ш. Джджули в 1935 г. инициировал создание в Белградском университете (в нем училось тогда около 20 албанцев) тайной организации “Беса” с оказанием ей материальной поддержки. Ее активисты Ш. Мустафа и И. Лютвич имели задачу наладить связь со студентами-коммунистами [3. С. 278]. После оккупации в 1939 г. Албании Италией, Рим через разведслужбу использовал членов “Бесы” для сбора информации из Космета [5. С. 111]. В 1941 г. “Беса” распалась, надобность в тайне и тайной организации миновала: на сцену выступили мощные национальные силы. По сути дела “Беса”, судя по имеющимся сведениям, все же не представляла собой серьезной политической силы. Да и не могла быть таковой по той причине, что Белград все же был сербским городом, а Белградский университет не был албанским. В подтверждение сказанного можно привести небольшой сюжет о том, что во время прославления 550-летия годовщины Косовской битвы (“Князь Лазар 1389 – Король Петр 1939”) раздавали листовку “Наше слово обществу”, подписанное “Арнаутская молодежь”. На самом деле ее составили студенты-коммунисты Белградского университета (Л. Рибар, Р. Бурджевич, С. Джакович и др). В листовке упоминалось о репрессиях над албанцами, говорилось об отнятии земли, о конвенции с Турцией по насильственному выселению арнаутов [3. С. 276].

На тайном совещании в Сербском культурном клубе 7 марта 1937 г. о “выселении арнаутов” историк В. Чубрилович, встревоженный тем, что с 1921 по 1931 гг. прирост албанцев – “самой живучей и плодovитой расы” – составил 68 060 человек, а сербов 58 745, пришел к выводу, что власть может добиться успеха в своей колонизационной политике, если будет применять суровые меры. Для “исправления” создавшегося положения и была заключена конвенция от 11 июля 1938 г. между Стамбулом и Белградом по выселению в Турцию 40 тыс. мусульманских семейств из южной Сербии в течение 1939–1944 гг. При этом за каждую семью югославское правительство обязывалось выплачивать 500 турецких лир, из которых 30 % в валюте. По конвенции не только турки, но и албанцы, примерно из 50 мест Космета могли быть выселены. Конвенция не была ратифицирована в турецком парламенте, вследствие смерти Кемаля Ататюрка (албанца по происхождению) [З. S. 261–262].)

Но, как ни парадоксально, “новые албанцы” только начинали возрастать на родной почве, с помощью сербов, вернее, ненависти к ним. Сербы думали иначе. Просвещение было тем средством, с помощью которого Белград рассчитывал создать свою элиту в албанской среде. В 1924/25 учебном году в Скопле (совр. Скопье) было открыто государственное медресе “Король Александр” в ранге гимназии, в которую был откомандирован сильный состав преподавателей с целью воспитания преданных государству людей. Однако случилось обратное ожиданиям: многие ученики этой школы из числа албанцев в 1930-х годах уходили в коммунистическое подполье. Они доминировали в первом поколении интеллектуалов-албанцев в межвоенной Югославии. Большинство их участвовало в народно-освободительной борьбе против нацистов. После Второй мировой войны эти люди занимали видное положение в сферах просвещения и культуры [З. S. 255, 257]. В то же время просвещение “арнаутов” в массовом масштабе не приветствовалось. В служебной записке, датированной 1938 г., подчеркивалось: “Раньше появление албанцев в гимназиях было редкостью. Но уже десять лет как они словно пробудились от сна. Произошел наплыв албанцев в гимназии. Цель – создать кадры интеллектуалов-албанцев. Великое медресе в Скопле ежегодно выпускает 20 выпускников. Все те, кто заканчивает средние школы, идут в университет. Большое количество молодежи переместилось в Албанию, где получили стипендию Албании или Италии. Цель этого обучения состоит в том, чтобы из албанцев, рожденных на нашей территории, создать фронт борцов за освобождение арнаутов в Югославии”. Поэтому власть не только запрещала книги на албанском языке, но и наказывала их владельцев. Было строго запрещено и публичное пение на албанском языке [З. S. 267].

Касаясь начального и среднего образования, надо все же сказать, что если в 1927/28 учебном году в школу ходили 7 655 албанцев, в том числе 232 девочки, то в 1939/40 учебном году албанских детей было – 11 876 [З. S. 255]. Динамика, конечно, могла быть значительно лучше, но “винить” во всем государство было бы несправедливо. Хотя именно оно не выполняло условия Сен-Жерменского договора о защите прав национальных меньшинств. По мнению историков из бывшей СФРЮ, политические организации албанцев, их лидеры, беги, мало вкладывали труда в дело улучшения культурно-просветительного положения албанского населения. “Вторжения качакских отрядов с их грабежами и разбоями, терроризм, ирредентизм с одной стороны, репрессивные акции властей, с другой”, вели к ухудшению общей ситуации, что отражалось и на

культуре. Тяжелое положение, в котором обвинялось государство, должно было быть использовано как мощное средство для присоединения Космета к Албании [8. С. 120].

Однако Белград тогда был сильнее и действовал злее и жестче. Хотя политика “пряника” также не забывалась. “Приручение” Космета шло не только через молодежь со ставкой на будущее, но и через людей опытных, авторитетных, включенных в политическую жизнь Королевства, знающих историю, “связывавшую” два народа. Членом радикальной партии и личным другом Н. Пашича был глава Печской общины Неджип-бег Башич (фанатики-мусульмане его презирали за то, что позволил дочери снять зар и фередж, т.е. паранджу и чадру). С радикалами были связаны Ш. Воца, глава общины Шалье, и Ч. Цури, глава общины Джаковицы. Двор оказывал большое внимание Ш. Воце, который в 1915 г. спас короля Петра во время перехода через Албанию. Он и его отец Бечир помогали властям в отражении или обуздании какачских акций. Когда король Александр женился на румынской принцессе Марии в июне 1922 г. они послали в качестве свадебного подарка 100 баранов с золочеными яблоками на рогах. Однако в 1930-х годах Ш. Воца был разочарован политикой властей по отношению к своим соотечественникам. Так, в Народной скупщине 1938 г. он критиковал правительственный план о насильственном выселении албанцев. Опасаясь репрессий должен был бежать из страны – жил в Албании, Италии, Египте и в Греции. Вернулся в Югославию накануне войны, предварительно заручившись защитой королевы Марии, к которой он обратился с письмом о помощи. Уже тогда Воца был связан с итальянской секретной службой. После нападения в 1941 г. Германии на Югославию он, опасаясь ликвидации со стороны югославской армии, пытался незаметно покинуть Косовскую Митровицу переодетым в мусульманскую женскую одежду, однако при встрече с патрулем побежал и был убит [3. S. 270–271].

Радикалов поддерживал и депутат Народной скупщины Ченан Зия-бег из Битоли, потомок Али-паши Янинского по материнской линии. В рядах Демократической партии, а потом радикальной, был Сефедин-бег Махмутбегович, который следовал в жизни пословице “сила Бога не просит”. В списке Югославского радикального объединения, созданного в 1935 г. было несколько политиков-албанцев, среди которых – А. Мармулакович из Истока, М. Дургутович из Ораховца, И. Агуши из Приштины. Они выступали против изъятия земли у албанцев, но не смогли добиться от правительства конкретных мер по изменению ситуации (во время Второй мировой войны большинство албанских политиков сотрудничали с оккупантами. И. Агуши стал членом правительства в Тиране. После войны некоторые эмигрировали, а те, которые не успели, были убиты или осуждены. “Приручали” не только должностями, но и наградами. Так, орден Югославской короны 5-й степени получили: глава общины Добре Воде Ю. Шлакович, глава общины Србица Р. Фенович, глава общины Джаковица С. Црноглавич [3. S. 271–272].

Космет интересовал не только сербов. Его территория стала местом деятельности итальянской, немецкой, английской, советской разведслужб. Все старались “приобрести и подкупить” авторитетных албанцев, которые могли быть им полезны. Главным агентом абвера стал К. Плавшич, к которому присоединился сотрудник ведомства адмирала Канариса с 1936 г. Д. Дева из Косовской Митровицы. На службе у Великобритании состояли Чани-бег Црноглавича и Ч. Кокоши [3. S. 278; 5. С. 112]. И все они работали, надо полагать,

за идею, которая для них, как и для многих албанцев, воплощалась в Великой Албании, новом центре мусульманского царства на Балканах.

Однако больше всех преуспела Италия, активно готовившая пятую колонну в королевстве Югославия. 7 апреля 1939 г. Италия оккупировала и аннексировала Албанию. С этого времени начинается новый этап в истории пограничного Космета. Активизируется качакское движение. При согласии Италии проводится запись добровольцев для будущих походов в Космет. Так, Ахмед-ага Бериша из Джаковицы записал в Скадре и окрестностях 500 человек, М. Барьяктар собрал 700 человек; М. Биба из села Ника около 700 добровольцев. Каждый из них получал по килограмму кофе и сахара и три килограмма риса с условием, что будут готовы (в 1940 г.) выступить в поход, когда поступит приказ [5. С. 108].

Готовились, кстати сказать, и в Королевстве. К весне 1941 г. в Югославии находилось около 300 албанских политэмигрантов, которые в начале апреля собрались в Джаковице и Дебре. 5 и 6 апреля в Албанию было заброшено несколько групп, которым удалось поднять население на восстание против итальянской оккупации в нескольких районах. Вошедшая туда Югославская армия рассматривалась своеобразной освободительницей [3. С. 285]. Однако последовавшая вскоре повсеместная сдача страны прекратила эту трагикомедию. Но война диктовала свои законы и сербы, пока были хозяевами, действовали по отношению к албанцам в Космете жестко. Комендант военного округа в Косовской Митровице полковник В. Каличанин расстрелял в казарме большую группу военнообязанных албанцев из-за их якобы дезертирства [3. С. 285]. Албанцы Космета действовали не менее жестко – уже по отношению к мирному населению! Враги югославов – немцы и итальянцы – были встречены албанцами Космета как долгожданные освободители. Албанские “вулнетари”, т.е. добровольцы, начали жечь сербские и черногорские села, прежде всего колонистские. По городам Космета прошли многочисленные демонстрации с лозунгами “Rnoft baba Hitler” (“Да здоровствует отец Гитлер”), “Rnoft dajka Musolini” (“Да здоровствует дядя Муссолини”). Настало “черное время” и для королевских солдат, возвращавшихся домой в Косово; их убивали, грабили, а те, которые добирались домой невредимыми, заставляли только развалины, пахнущие дымом, на месте своих домов. “На грабеж и выселение сербов поднялось все албанское население при помощи многочисленных качаков, которые ранее, скрываясь от наказания за свои преступления, бежали в Албанию, а сейчас нагрянули назад...” [9. С. 12].

Дреничский священник Д. Шекуларац в своих свидетельских показаниях от 20 июля 1941 г. говорил следующее: “Приход покинул после того, как был ограблен до нитки арнаутами. Бежал с женой и шестью детьми в тот момент, когда меня должны были убить... Арнаути военнообязанные бежали из армии с оружием – кто переоделся, а кто и в форме уже “при деле”: нападают на сербских солдат, жандармов и остальных. Дома сжигают, убивают известных граждан... Слышатся вопли женщин и детей. Вопль за воплем. Помочь никто никому не может. Немецкая армия еще не прибыла, наша – в развале. Анархия ликует. Арнаути не имеют милости. Избивают, убивают, грабят. Сербский народ в панике... Бежим в Печ... Получаем ответ (от немцев), что они не имеют достаточно сил для защиты сел, и могут гарантировать только городские поселения... возвращаюсь в Дреницу... Сейчас здесь итальянцы вместо немцев. Кто-то вернулся на пепелище, но убийства еще продолжаются, теперь

по ночам. Моя церковь обезображена, мой приходский дом разрушен. Существование невозможно” [9. С. 15]. В 1941 г. было уничтожено 65% домов колонистов в Печском районе, и 95% – в других районах Метохии [9. С. 13].

Сам Космет в середине мая 1941 г. был разделен на три зоны: немецкую, итальянскую (самую большую) и болгарскую. Италия после разгрома Королевства Югославии под своим протекторатом сразу создала так называемую Великую Албанию (этническую Албанию). В августе 1941 г. по указу итальянского королевского наместника в ее состав вошли большая часть Космета, западная Македония и пограничные районы Черногории. В этом государстве жило 1 905 277 жителей, из них в границах Албании 1 105 903 [3. С. 285]. Албанцы из Космета вошли в албанский парламент и правительство в Тиране. Осуществлена была великая мечта о “Великой Албании”.

Оставалось только одно: “убрать” из новой Албании сербов, прежде всего колонистов. И здесь те же самые оккупанты – и итальянцы, и немцы – пытались как-то ограничить и прекратить произвол и насилия, творимые над сербами. Так, после убийства в Призрене сербов в 1941 г. и образования албанско-итальянской полиции в 1942 г. в городе вплоть до капитуляции Италии больше не было сербских жертв. Шли аресты и интернирование, например, в лагерь Порто Романо, близ Драча (там содержалось около 900 сербов) [9. С. 19]. Но убийств, которым препятствовали итальянские военные власти, не совершалось.

При этом следует отметить, что из сел в окрестностях Призрена сразу была предпринята высылка всех сербов-колонистов в Сербию и Черногорию [9. С. 17]. Как пишет современный исследователь П. Имами, из итальянской оккупационной зоны выселилось свыше 40 тыс. человек [3. С. 288]. После ухода итальянцев в 1943 г. из Космета и замены их господством немцев началась новая волна атак на сербское население. Албанцы по соглашению с немцами тогда стали считать свои владения “Новой Албанией” [9. С. 13].

В болгарскую оккупационную зону вошли: одна часть Гниланского района, Витина, Качаник и Сириничка жупа. В оккупированных краях болгары открыли школы на болгарском языке, болгарский язык звучал в органах управления новыми владениями, подлежащими болгаризации [10. С. 568]. Однако центральное место все же занимала албанизация Космета.

В той же немецкой зоне влияния в составе Недичевской Сербии, оказался Косовский округ (часть Косова), который албанцы называли тогда Малой Албанией, с административным центром в Косовской Митровице. Вначале он состоял из четырех районов с центрами в Новом Пазаре, Косовской Митровице, Вучитрне и Подуеве, а с декабря 1941 г. из пяти, с добавлением центра в Рашке. По оценкам там жило 189 252 жителя. В соглашении от 21 апреля 1941 г. между комендантом 60-й пехотной дивизии Немецкого рейха генерал-подполковником Ф.Г. Эберхартом и албанскими лидерами в Югославии подчеркивалось, что руководители албанцев “должны взять власть в стране и тем самым нести полную ответственность за безопасность жизни и имущества всех людей, которые живут в стране. Самовольные акты мщения и нападения, как и грабежи, должны быть немедленно прекращены” [3. С. 286]. От албанцев этот договор подписали Джафер И. Дева (Митровица), Омер Чини и Эмин Черкези (Сеница), Ачих Хаджи Ахмети (Нови Пазар), Яхья Хаджи Джемали (Вучитрн), Ильяз Хаджи Джемали (Приштина), Шачир Халили, званый Ходжа Висока (Подуево), Юсуф Градица, Муфтар Хусейни, Зейнел Садик и Мустафа

Ибрахими (Дреница), Садик Рама (Исток), Сейфедин Беголи, Джеват Беголи, Петар Лоренчин и Пауль Лоренчин (Печ) [3. С. 287].

Однако новый порядок имел ярко выраженный проалбанский характер. Немецкий спецдипломат Герман Нойбахер в своем донесении в Берлин писал, что “албанцы поспешили изгнать как можно больше сербов из страны. При этом за разрешение на выселение местные тиранчики часто брали бакшиш, точнее, взятки золотом” [3. С. 287]. Из немецкой зоны “разрешение на выселение” запросило свыше 30 тыс. человек [3. С. 288]. После интерpellации генерала Недича к Нойбахеру, а последнего к Дж. Деве ситуация несколько изменилась, но страдающей стороной все равно оставались сербы.

Грабежи и убийства продолжались. Только в Липлянском приходе с 1941 г. по 1945 г., судя по неполному списку, было убито 62 человека [9. С. 22–23]. По утверждению П. Имами, в годы Второй мировой войны в Космете погибло 6 200 человек всех национальностей. Так, из 550 косовских евреев выжило только 210 [3. С. 297].

От рук простых албанцев, албанских фашистов, албанской полиции, албанских борцов за национальную идею, мусульман, партизан, болгар погибло немало и белого и черного православного духовенства. Не пощажены были церкви и кладбища. Так, от монастыря Девич в Дренице, преданного огню в октябре 1941 г., не осталось камня на камне. Были ограблены обитатели Грачаница и Соколица. Церковь монастыря Гориоча служила тюрьмой при массовых арестах сербов. Как пишет сербский исследователь А. Евтич, число беженцев достигало в годы войны 100 тыс. человек [9. С. 23–26]. При этом бытуют утверждения о переселении в Косово за время оккупации из Албании от нескольких десятков тысяч до 300 тыс. человек. Однако, по данным Инспекции Союзного Секретариата внутренних дел, в Югославию за время войны прибыли 3 604 лица, рожденных в Албании, 501 югослав (неалбанец) из числа еще до войны эмигрировавших в Албанию, 4 тыс. албанцев, рожденных в Королевской Югославии и перебежавших ранее в Албанию [3. С. 298].

В Космете началось албанское время сторожей “Великой Албании”. Так, уже Ферхат-бег в августе 1941 г. заявил, что под “косовским солнцем” больше не должно быть сербов, и если не удастся их выселить мирным путем, необходимо использовать “массовый террор” [10. С. 570]. Другой “сторож” – авторитетный политический деятель Б. Пеяни, трудившийся с Ферхат-бегом и Дж. Девой над созданием Великой Албании, считал, что Косово – гнездо албанизма, постепенно занятое сербами, расселявшимися в южном направлении. “По его мнению, шиптари-албанцы без Косова и Метохии не смогли бы выжить”. Судьбу албанцев Космета он связывал с гитлеровской Германией [10. С. 571].

“Сторожем” должен был быть каждый албанец. Особая роль в этом предназначалась созданной в Албании после занятия ее итальянцами в 1939 г. организации Национальный фронт или “Бали комбтар”. Именно балисты из Космета сумели объединить вокруг себя других националистов – “вулнетаров”, албанскую полицию, албанские добровольные местные вооруженные формирования и др. Свою задачу балисты видели в охране границ “Великой Албании” со всеми соответствующими задачами. Позднее, в преддверии провала в Югославии своих “освободителей” немцев балисты развили активную пропаганду, говоря, что примут любую армию кроме Народно-освободительной армии Югославии. Они уверяли население в скором нападении Англии и Америки на СССР, что обеспечит существование “Великой Албании” [5. С. 120].

Свою роль играла и албанская фашистская милиция, которая действовала в итальянской оккупационной зоне. Она производила аресты сербов и черногорцев (учителей, священников, богатых граждан, бывших чиновников, т.е. людей, пользовавшихся влиянием в обществе), отправляя многих как политически неблагонадежных в концлагеря. Из регулярных воинских частей в обороне Космета от партизан участвовали полуторатысячный карательный полк “Kosovo”, сформированный еще одним “сторожем Великой Албании” Дж. Девой, части албанской армии, десятитысячная 21-я дивизия СС “Скендербег”, основанная в апреле 1944 г. и уничтоженная в мае 1945 г. Первая ее акция (14 марта 1944 г.) была связана с арестом почти трех сотен приштинских евреев. Неудачи в боях компенсировались расправами над неалбанским сельским населением [5. 130]. Помимо чисто воинских формирований, ставивших перед собой задачи охраны “мира и покоя” в Космете, и в целом в “Великой Албании”, на его территории развернулся процесс создания различных “комитетов” по защите Космета. Так, в префектурах, общинах, селах формируются шиптарские национальные демократические комитеты, сыгравшие большую роль во время мятежа в 1944–1945 гг. [5. С. 118–119]

Всюду тогда развевалось албанское национальное знамя. Албанцы получили право обучения на родном языке. При этом если в итальянской оккупационной зоне сербские дети могли учиться в школах только на албанском языке, то в немецкой зоне сохранялись и сербские учебные заведения.

Но была и другая система образования – гражданская война, шедшая вперемишку с народно-освободительной борьбой. И в рядах партизан Тито были и албанцы-коммунисты. Первый албанский отряд, названный в память погибшего коммуниста-албанца “Зейнел Айдини”, был основан в конце сентября 1942 г. под командованием Ф. Ходжи [3. С. 289]. В дальнейшем число партизанских отрядов увеличивалось, в основном за счет сербов и черногорцев. При этом сербы и черногорцы предпочитали создавать свои отряды и не вливаться в албанские партизанские части. Так, Косовский партизанский батальон был составлен в основном из сербов и черногорцев, бежавших из Косова. Албанские партизанские части особенно успешно пополняли свои ряды в 1944 г. Например, в конце сентября 1944 г. близ Подуева был сформирован батальон “Мето Барьяктари” (в память о погибшем товарище-коммунисте), который в основном состоял из албанцев. В октябре-ноябре в основном из албанцев были набраны 4-я (в Албании) и 7-я (в Джаковице) косовские бригады. Стоит отметить, что албанцы избегали входить в другие бригады, из-за страха, как пишет П. Имами, быть убитыми “сербскими и черногорскими реваншистами”. Всего к концу войны в рядах Народно-освободительной армии Югославии насчитывалось свыше 50 000 албанцев. Символом совместной борьбы сербов и албанцев в Косове и Метохии стали народные герои Б. Вукмирович и Р. Садик, расстрелянные близ с. Ландовице, около Призрена. Осталась легенда, что перед казнью они так крепко обнялись, что итальянским карабинерам не удалось потом разнять их тела. Останки героев впоследствии были перенесены в Печ по просьбе семьи Вукмировича. Один похоронен на православном кладбище, другой на мусульманском [3. С. 289–292]. Есть и много других примеров того, как албанцы во время войны помогали сербам и черногорцам. Когда после крушения Югославии албанские “вулнетари” хотели добить находившихся в Призренской больнице раненых королевских солдат, в их спасении участвовали вместе с медицинским персоналом и некие албанцы, которые принесли

им гражданскую одежду. Еще один пример связан с именем албанского национального деятеля Гани-бега Криезиа, который в июле 1944 г. обратился с воззванием к албанцам Косова, призывая их вместе с другими антифашистами вступить в борьбу против немцев и бороться за “святую албанскую землю”. Титовская власть его арестовала и посадила в тюрьму в Сремской Митровице как якобы немецкого коллаборациониста, где он был убит в результате “организованного инцидента” [3. С. 297].

Результаты развернувшейся борьбы за “святую землю” были с военной точки зрения предreshены: с 17 по 23 ноября, несмотря на жестокое сопротивление балистов, города Космета были освобождены. Однако поражение не означало прекращения борьбы. Так, проведенная новыми властями общая мобилизация в Космете была практически сорвана: одни албанцы быстро дезертировали, другие поднимали мятежи. Были случаи, когда вся бригада переходила на сторону балистов [5. С. 121]. Со 2 декабря 1944 по 21 февраля 1945 г. длились повстанческие акции балистов, собравших под свои знамена около 80 тыс. человек [5. С. 146]. После разгрома во второй половине февраля 1945 г. ядра восстания в Дренице тактика балистов изменилась. Одни ушли в Грецию, в Албанию, другие вошли в новые органы власти в Космете. Так, Х. Спахия был председателем районного народно-освободительного комитета в Призрене и одновременно председателем центрального национал-демократического “шиптарского” комитета [5. С. 122]. Именно эта организация с центром в Призрене, не оставлявшая планов соединения Космета с Албанией, успешно внедрилась в милицию, имела своих сторонников в рядах КПЮ, в армии, в местных органах власти [5. С. 150].

Безусловно, новая власть, понимая всю трудность ситуации в Космете, старалась показать отличие прежней политики королевских властей от своей, нацеленной на удовлетворение насущных требований албанцев, прежде всего в земельном вопросе. 6 марта 1945 г. власти приняли “решение о временном запрещении возврата колонистов на прежние места жительства”, а 7 июля того же года было объявлено сходное сообщение о запрете самовольного возвращения колонистов, обращенное к тем, которые во времена королевской Югославии в запланированном порядке расселялись в Космете на землях беглых или изгнанных албанцев. Все спорные имущественные вопросы обсуждались в аграрной ревизионной комиссии. Она признала полное право на землю 4 829 сербских семейств. Согласно ее решениям, 5 744 прежних владельцев частично потеряли землю. 595 бывших собственников утратили право на землю. Албанцам было возвращено 15 784 га [3. С. 288].

В репортаже “Обещанная земля” (“Борба”, 20 VI 1989) революционер и бывший высокий руководитель в Косове сказал следующее: “Для нас, ради упорядочивания ситуации на Косове и Метохии, было самым важным обсудить и справедливо решить все споры вокруг земли. Все это длилось два года. Тем решением была отнята у поселенцев только та земля, которую годами обрабатывали крестьяне-албанцы... около 15–16% всей земли, которой поселенцы владели до войны... Когда были решены все эти споры вокруг земли, были созданы благоприятные условия для нормальной жизни и работы в Области, а это, между прочим, проявилось в том, что после того быстро были в основном ликвидированы и мятежники” [3. С. 289].

По мнению уже не политика, а сербского историка Евтича, в Космет никогда не вернулось 1638 сербских семейств, а в Воеводину тогда было пересе-

лено 2064 семьи. По материалам Областного комитета, землю тогда в Косове потеряли частично или полностью 5 744 сербских семьи (т.е. идут совершенно иные данные, чем у П. Имами!), и только некоторые из них получили назад свою кормилицу. Так началась послевоенная “этническая чистка” Косова и Метохии, которая продолжается и по сей день [9. С. 27].

С последним выводом коллеги трудно не согласиться. В сущности, Космет “потерян” для сербов, превратившихся в “национальное меньшинство”, в то время как “большинство” в самой “отаджбине” занято своими не менее важными проблемами по сохранению собственно Сербии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Славянские известия. 1913. № 9(2).
2. *Ивић П.* О узроцима етничких промена на Косову // Становништво словенског поријекла у Албанији (Зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Цетињу 21, 22 и 23 јуна 1990) Титоград, 1991.
3. *Itati P.* Srbi i albanci kroz vekove. Beograd, 1999.
4. *Кадесников Н.З.* Краткий очерк русской истории XX века. Нью-Йорк, 1967.
5. *Иванов П.Ц.* Ко су и шта хоће шиптари. Београд. 1998.
6. Македонский вопрос в документах Коминтерна. Скопје, 1999. Т. I. Ч. 1: 1923–1925 гг.
7. *Vrčinac J.* Kraljevina srba, hrvata i slovenaca jd ujedinjenja do vidovdanskog procesa. Beograd, 1956.
8. *Димић Љ.* Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941. Трећи део. Београд, 1997.
9. *Јевтић А.* Страдања срба на Косову и Метохији од 1941. до 1990. Приштина, 1990.
10. *Фолић М.* Окупациони систем и колаборација на Косову и Метохији 1941–1945 // Други свјетски рат – 50 година касније. Радови са научног скупа. Подгорица, 20–22 септембар 1995. Подгорица, 1997. Т. I.



© 2005 г. Г. РУПЧЕВА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РУССКИМ ВЕТЕРАНАМ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877–1878 ГОДОВ

После революций 1917 г. и Гражданской войны из России в Болгарию хлынул многотысячный поток русских беженцев. Среди них были и ветераны русско-турецкой войны 1877–1878 гг., большинство которых осели в стране. Первые 12 человек прибыли в Болгарию в 1921 г. вместе с частями армии генерала Врангеля. В 1923 г. в стране насчитывалось уже около 70 русских ветеранов, избравших местом жительства десятки болгарских населенных пунктов, преимущественно города: Софию, Варну, Бургас, Несебр, Русе, Шумен, Габрово, Стара Загора, Севлиево, Тырново, Ловеч, Тетевен, Плевен, Видин, Свиштов, Никополь, Червен бряг, Кюстендил, Пловдив, Станимак, Татар Пазарджик, Ямбол, с. Шипку и др. [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1048. Л. 63]. Ветераны, достигшие преклонного возраста, нашли там благоприятные условия существования: общежития, приюты для престарелых, столовые, дома инвалидов. Интересно, что некоторые ветераны-беженцы, большая часть которых участвовала в 1877–1878 гг. в боевых действиях на Балканском фронте и в освобождении Болгарии, предпочли поселиться в местах, знакомых им со времен войны. Как ее участники они пользовались авторитетом у местного населения и гражданских властей. Так, Александр Викторович Фок, первым со своей ротой ступивший на болгарский берег у Свиштова, прибыв в страну как беженец, поселился именно в этом городе [2. С. 109–110; 1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 63]. Ветераны-эмигранты надеялись найти материальную и финансовую поддержку. Например, в письме, направленном в Комитет по оказанию помощи ветеранам-беженцам 24 декабря 1922 г., полковник Роман Александрович Скальский писал: “Во всяком случае, мы – участники Освободительной войны, заслуживаем большего обеспечения, нежели те лица, которые не участвовали в этой войне... Осуществить это не очень трудно, так как нас, ветеранов, оставшихся здесь, всего несколько десятков, задержавшихся на этом свете и по воле злой судьбы покинувших свою родину и оказавшихся на территории государства, в создании которого приняли личное активное участие, принесли в жертву этому свой тяжкий труд и жизнь...” [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1048. Л. 41–42]. Р.А. Скальский участвовал в боевых действиях с 12 апреля 1877 г. по 16 сентября 1878 г. Был подпоручиком, адъютантом командира 44-го пехотного

полка 11-го армейского корпуса. Полк после переправы через Дунай в июле 1877 г. находился при Главной квартире Александра II, а затем участвовал в боях за освобождение г. Елены, при Шипке и Шейново, взятии Осман Пазара, Ески Джумаи и крепости Шумен. 20 декабря 1922 г. Скальский прибыл в г. Созополь, затем через Лясковец добрался до Кюстендила, где был помещен в приют Франко-Болгарского комитета. Оттуда он и написал свое письмо.

Размещение русских беженцев в Болгарии осуществлялось при содействии правительства. Сначала помощь со стороны государства и общества имела спонтанный характер, но уже в 1921–1922 гг. она стала организованной. Выражением признательности болгар за освободительную миссию России явились проведенные в середине 1919 г. – начале 1920 г. и позднее многочисленные благотворительные акции, направленные на оказание помощи при обустройстве русских беженцев. Инициаторами этих акций стали общественные организации и специально созданные в центре и на местах комиссии и комитеты. Государство помогало кредитами деятельности таких организаций [3. С. 42–47, 56, 58, 67–68, 86–88, 114–116].

В декабре 1922 г. в Софии, где проживала основная часть русских ветеранов, на дружеской встрече с болгарскими ополченцами возникла идея придать акциям организованный характер. Инициаторами выступили майор запаса Иван Николаев и русский беженец-ветеран генерал Алексей Алексеевич Смагин, работавший в то время на столичной табачной фабрике “Енидже”. Для начала было решено через болгарскую и русскую эмигрантскую печать разыскать всех беженцев–участников русско-турецкой войны с целью оказания им материальной и финансовой помощи [2. С. 164].

Вскоре в болгарской печати и русских эмигрантских газетах “Русь” и “Казачьи думы” было помещено обращение ко всем ветеранам-беженцам с просьбой откликнуться и прислать сведения о себе и точный адрес. На основании полученных ответов группа генерала Смагина составила список участников Освободительной войны, проживавших в Болгарии. Была подготовлена и докладная записка в Совет министров о тяжелом материальном положении русских ветеранов. Записка с приложенным к ней списком была передана И. Николаевым главе правительства и министру иностранных дел Александру Стамболийскому. Премьер-министр с сочувствием отнесся к данному вопросу, но решил рассматривать его шире: в помощи нуждались и болгарские ополченцы.

2 февраля 1923 г. в преддверии празднования 45-летия освобождения Совет министров Болгарии принял постановление об учреждении при Министерстве иностранных дел и исповеданий (МВнРИ) межведомственной комиссии в следующем составе: председатель – генерал запаса В. Лазаров, члены – начальник отдела вероисповеданий МВнРИ Г. Цветинов (по совместительству кассир комиссии), д-р Ф. Манолов, полковник Димитров, Георги Ив. Капчев и Иван Н. Николаев. На комиссию возлагалась задача – к предстоящему празднику Освобождения Болгарии “организовать сбор средств и их раздачу находившимся в стране русским, принявшим участие в освобождении страны, и болгарам – героям Шипки” [1. Ф. 264к. Оп. 2. Д. 8332. Л. 146]. В постановлении были указаны источники средств и методы их сбора: к акции приглашались банки, фабрики, акционерные общества, учащиеся; Св. Синоду Болгарской православной церкви было предложено провести сбор средств во всех храмах; предусмотрен выпуск юбилейных марок, распространять которые с благоотво-

рительной целью предстояло в театрах и кино, ресторанах и гостиницах. Обществу журналистов предлагалось выпустить в тот день экстренный номер “Вестник на Освобождението”. Прибыль от специально организованных спектаклей, концертов, киносеансов должна была, полностью или частично, быть передана комиссии. Болгарских граждан призывали жертвовать, кто сколько может, а администрация, гражданские и военные власти обязывались оказывать полное содействие комиссии при выполнении возложенной на нее задачи.

На первом заседании комиссии было принято ее название: Центральная комиссия по оказанию помощи находящимся в Болгарии русским и болгарам – участникам Освободительной войны 1877–1878 гг. Решился вопрос о секретаре комиссии (им впоследствии был назначен Юрдан Тодоров) и персонале, об издании обращения к болгарскому народу с призывом помочь ветеранам (подготовка его была поручена Г. Капчеву) [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 2].

На втором заседании комиссии 6 февраля был одобрен текст Обращения к болгарскому народу. Участники заседания постановили написать письмо в Министерство просвещения о желательности 4 марта “провести в школах специальные беседы с учениками о значении праздника и призвать молодежь оказать посильную помощь страдальцам”. Министерство должно было также обратиться к Св. Синоду и просить его распорядиться, чтобы в храмах священники в день праздника призвали верующих “внести свою лепту” [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 3]. Во исполнение постановления Совета министров от 2 февраля Центральная комиссия разослала циркуляр о формировании на местах окружных, околийских и общинных комиссий. Для их быстрой организации было принято решение направить членов Комиссии в поездки по стране. Председатель, генерал В. Лазаров, направился в Северную Болгарию, Г. Капчев – на юг, И. Николаев должен был встретиться с официальными властями в Шумене и Варне, а Софийский митрополит Стефан согласился помочь в создании столичной комиссии.

На первых порах деятельность Центральной комиссии финансировалась правительством: по распоряжению главы кабинета на ее нужды было отпущено 10 тыс. левов. Эта малая сумма помогла осуществить поездки по стране, наладить переписку и пр. Список адресатов был значительным: министерства финансов, транспорта, просвещения, военное, Торговая палата, банки, общество “Славянская беседа”, Центральное общество ополченцев и другие государственные учреждения и ведомства. Активно велась переписка с генералом Смагиным, а также с болгарскими гражданами [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1048. Л. 16–18, 22, 27].

Комиссия уделяла внимание и подготовке разнообразных культурных мероприятий (концертов, вечеров), доход от которых поступал русским ветеранам. С этой целью Комиссия обратилась в дирекции Народного театра, Современного театра, театров “Одеон” и “Ренессанс”, Свободного театра и кинозалов с просьбой дать по одному спектаклю или сеансу в пользу ветеранов. Переписка свидетельствует о том, что вниманием Комиссии были охвачены все филиалы Торгово-промышленной палаты, табачные фабрики и крупные синдикаты [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 8]

В результате этих усилий в стране началось создание местных комиссий по оказанию помощи. Особенно большой размах эта работа приобрела в Стара Загоре. Вопрос о создании комиссии был рассмотрен 14 февраля 1923 г. на со-

брании всех руководителей государственных, окружных и общинных учреждений города. В ее состав вошли 23 человека, в том числе околийский начальник Г. Гочев (председатель), кмет города Х. Фетфаджиев, директоры мужской гимназии Ангелов и женской – Андреев, окружной школьный инспектор Фартунов, окружной финансовый начальник Славов, лесничий Тончев, директор Крестьянского банка Грынчаров, прокурор А. Добрев, начальник железнодорожной станции Х. Папазов и др. Члены комиссии приняли решение сформировать 11 отдельных комиссий, которые немедленно должны были приступить к работе. Это, по мнению собравшихся, могло “собрать значительную сумму”. Было предложено ввести специальные наценки на товары и услуги. Например, в гостиницах следовало брать с постояльцев дополнительно 5 левов за место, в кино и театрах – по 2 лева на один билет, продавцы газет “накидывали” по 1 леву на каждый экземпляр, также на 1 лев дороже стала продававшаяся в розлив продукция у продавцов вина, пива и ракии. С благотворительной целью были напечатаны юбилейные марки. Документы околийской комиссии показывают, насколько широко проводилась в городе подготовка кампании по оказанию помощи, с какой ответственностью подошли к ней и руководители, и простые граждане, какой благородный отклик нашел у горожан призыв комиссии не бросить в трудном положении ветеранов-беженцев.

22 февраля Центральная комиссия подвела первые итоги. Было решено открыть в Софийском отделении Болгарского народного банка (БНБ) специальный текущий счет Комиссии. Кроме того, члены Комиссии сочли целесообразным просить правительство продлить срок полномочий до 4 мая 1923 г., чтобы успешно завершить начатое дело [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 10]. 23 февраля в связи с приближавшимся празднованием Дня освобождения Комиссия обсудила доклад о своей работе. По мнению некоторых членов, задачу неправильно было бы сводить только к организации сбора средств для ветеранов. На заседании прозвучали голоса о том, что у Комиссии есть и “историческое назначение”: блестяще провести празднование Дня освобождения, “праздника из праздников для всего болгарского народа”. Хотя мнения разделились, в конце концов, по согласованию с МВнРИ, было принято решение организовать шествие к памятнику Александру II и возложить венок от имени болгарского народа и правительства. Данный эпизод свидетельствует о неоднозначном понимании задач Комиссии даже ее членами. Отношение к ее деятельности в некоторых общественных структурах также было различным. Показательно, что на заседании 23 февраля констатировалось слабое отражение в печати изданного Комиссией Обращения к болгарскому народу [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1048. Л. 5].

Об участии Комиссии в празднования Дня освобождения свидетельствуют материалы заседания от 5 марта. В докладе председателя Комиссии генерала Лазарова говорилось о поступлении собранных средств на текущий счет БНБ, что дало возможность оказать помощь русским ветеранам, находившимся в “состоянии бедности”: пятерым было решено выдать по 1000 и двум – по 500 левов. Комиссия сочла также необходимым просить Общество ополченцев представить списки “испытывавших крайнюю нужду болгарских ополченцев” для оказания им помощи.

По постановлению Совета министров от 7 марта 1923 г. полномочия Комиссии были продлены до 4 мая [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 15]. Понимая, что идею оказания систематической помощи ветеранам следовало бы закре-

пить, члены Комиссии приняли решение обратиться в окружные постоянные комиссии с просьбой предусмотреть в их бюджете специальные статьи. Особое внимание было уделено правительственной печати, которая, как было замечено, вела себя в отношении Комиссии “неприятно”. Г. Цветинову было поручено доложить об этом премьер-министру Стамболийскому.

После праздника основное внимание Комиссии было направлено на обеспечение поступления собранных сумм на текущий счет и распространение юбилейных марок. На нескольких заседаниях решался вопрос о распределении марок по населенным пунктам. Крупные города получили наибольшее количество марок: София – на сумму 302 400 левов, Пловдив – 208 755 левов, Стара Загора и Русе – по 151 200 левов, Бургас и Варна – по 101 520 левов. Марки на менее значительные суммы получили Габрово и Хасково – по 46 800 левов, Шумен и Горна Оряховица – по 30 000 левов, Ямбол, Плевен и Тырново – по 28 800 левов и пр. Всего по стране надлежало распространить марки достоинством в 10, 5 и 3 лева на общую сумму 1 611 720 левов. Некоторые города, например, Пловдив, Русе и Стара Загора, попросили дополнительные марки. Для этого пришлось уменьшить квоту нескольких небольших городов (Ихтимана, Петрича, Горна Джумаи, Неврокопа, Рилы и др.).

В процессе рассмотрения поступивших документов от обращающихся с просьбами о помощи участников войны Комиссия приняла решение оказать таковую только тем, кто воевал на Балканском фронте, на болгарской земле [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 19].

28 марта 1923 г. Комиссия решила к Пасхе оказать первую помощь участникам Освободительной войны – русским и болгарам, учитывая их материальное положение. На следующих заседаниях был уточнен список ветеранов (56 человек), каждому из которых выдавалось бы по 300 левов и по 100 левов – члену семьи или тому человеку, который обихаживает ветерана [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 26–28; Оп. 1. Д. 1048. Л. 67, 86, 87а]. В начале апреля в Комиссии после подведения баланса приняли решение оказать помощь и тем ветеранам, которые жили вне границ Болгарии. В связи с этим можно упомянуть генерала Каульбарса, которому выделялось 5 000 левов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 28].

Параллельно были составлены и доставлены в Центральную комиссию пять списков жертвователей. В список № 1 были включены банки, торговые объединения, промышленные объединения, муниципалитеты, типографии, клубы, магазины, частные лица (например, придворный ювелир Кулушан). Следует заметить, что среди финансовых учреждений были иностранные банки и банки со смешанным капиталом, такие как, например, Балканский, Международный, Дойче банк, Итало-Болгарский, Франко-Болгарский, Франко-Бельгийский, Американско-Болгарский. В список № 2 были вписаны другие банки, акционерные, страховые, транспортные, кредитные объединения, кооперативы, гостиница и ресторан “Болгария”, Военный клуб, кафе “Царь-Освободитель”, придворная типография, дворцовая канцелярия, придворная аптека, типография “Балкан”, настоятельство Армянской церкви, десятки граждан. В список № 3 также входили банки, торговые объединения, промышленные предприятия, клуб Демократической партии, редакция и типография газет “Пряпорец” и “Демокрация”, Польский книжный магазин, общество кинематографистов “Луна”, общество “Славянская беседа”, книгоиздательство “Паскалев” и др. В последующий список (без номера) включались банки, предприятия, клиники,

Св. Синод, редакция газеты “Земеделско знаме”, типография “земледельцев” (БЗНС), газета “Зорница”, редакция газеты “Напредък”, редакция газеты “Утро” и дирекция типографии этого печатного органа, газеты “Дневник”, “Мир”, “Ден”, Государственная типография, Бельгийский торговый синдикат, Табачное общество “Никотеа”, Русский ресторан, представительство Лиги наций, архитекторы, адвокаты, торговцы, фабриканты, врачи и др. Среди частных лиц были генерал Ст. Загорски, семья Данева, братья Прошекови. В завершающем – также без номера – списке были банки, акционерные общества и торговые предприятия, кооперативные организации. В списке наряду с другими организациями-жертвователями были и театры, например, Современный театр, Театр “Одеон”, театр “Фоли Бержер”, а также цирки “Добрич”, “Рожиери” [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1048. Л. 1–13]. Эти списки свидетельствовали о широкой и повсеместной отзывчивости, проявленной руководством государственных и общественных институций, и самим столичным населением при организации и сборе помощи ветеранам. Можно упомянуть и о средствах, собранных труппой Народного театра от благотворительных концертов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 22].

На заседании Центральной комиссии (2 мая 1923 г.) был заслушан отчет о поступивших суммах и составлен протокол, в который вписаны суммы, пожертвованные различными институциями и более сотней граждан. Общее количество денег на тот момент составило 253 121 левов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 33–34]. В конце июля этот список благотворителей был дополнен: в него были включены названия 95 институций и фамилий жертвователей из более полусотни болгарских городов. Общая сумма составила 461 331 левов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1048. Л. 64–65; Д. 1049. Л. 49–50]. Согласно этим двум спискам в акцию по сбору помощи ветеранам активно включились и такие города Шуменского региона, как Шумен, Ески Джумая, Преслав, Нови Пазар, Осман Пазар. Здесь общая сумма, внесенная регионом, составила 46 931 левов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1048. Л. 64–65; Д. 1049. Л. 49–50].

В связи с приближением завершения деятельности Центральной комиссии (4 мая) ее члены на своем заседании (7 апреля) обсуждали вопрос о судьбе собранных средств. 2 мая Центральная комиссия заслушала письмо от Общества ополченцев и в связи с наступавшим днем храбрости – днем св. Георгия Победоносца – решила часть будущих денежных поступлений отдать ополченцам. Распределением денег среди самых нуждавшихся должно было заняться Центральное управление Общества ополченцев, при этом русским ветеранам выделялось по 300 левов. Был составлен протокол о всех поступлениях, сумма которых составила 253 121 левов, в протокол (№ 31) занесено свыше ста благотворителей (частные лица и институции) [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 33–34].

В связи с задержкой поступления собранных средств Комиссия приняла решение об отправке циркуляра, в котором от всех местных комиссий требовалось срочно перевести собранные суммы на ее счет в Софийском филиале Болгарского Народного банка и напоминалось, что сами они не имеют полномочий оказывать помощь. Это предупреждение было вызвано появлением непроверенных сведений, что местная комиссия в Хасково распределила сама большую часть собранных сумм между ветеранами города [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 35]. В июне 1923 г. члены Комиссии в связи с дошедшими до них сведениями о злоупотреблениях предприняли контрольные поездки по стране для проверки собранных сумм [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 40, 41].

29 июня в Комиссии обсуждался доклад, подготовленный в Совет министров, в котором помимо освещения проделанной работы, излагались предложения, связанные с дальнейшим облегчением положения ветеранов. Было принято решение оказать помощь ополченцам 10-й дружины, принимавшим участие в боях при Шипке. Здесь, видимо, сыграл свою роль доклад председателя Общества ополченцев Карастоянова, нарисовавшего жалкое положение ополченцев и просившего оказать помощь [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 44].

Вследствие дополнительно рассмотренных в Комиссии просьб, поступивших к началу августа, было начато составление окончательного списка ветеранов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 51]. 7 августа было отмечено, что оказана помощь 65 поименно названным ветеранам, в своем большинстве русским. Между ними было распределено 63 850 левов (от 300 до 500 левов на человека). Гораздо реже встречались суммы от 600 до 1000 левов. Судя по документам, большинство ветеранов получали вспомоществование два раза, а некоторые до пяти раз по медицинским показателям и другим причинам [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 53].

Одновременно в Центральную комиссию продолжали поступать просьбы о помощи от русских ветеранов. 16 августа она решила выдать единовременную помощь в размере 500 левов сестре милосердия Ярославе И. Шубной и вписать ее в список № 1 ветеранов войны. На этом заседании было рассмотрено и официальное письмо бывшего управляющего русским дипломатическим представительством в Стамбуле генерала Маркова и генерала Каульбарса. В нем они просили принять в Шипченский монастырь русских инвалидов, часть которых были участниками Освобождения Болгарии. Однако это не входило в компетенцию Комиссии. Впоследствии несколько ветеранов все же было размещено в монастыре. Рассматривалось и предложение министра иностранных дел и исповеданий об оказании помощи русскому генералу Каульбарсу, «имя которого тесно связано с Болгарией и заслуги перед последней велики и всем известны», а также и графу Н.Н. Игнатьеву, сыну Н.П. Игнатьева. После письма, направленного из Парижа в начале 1924 г. в Комиссию от болгарского дипломата, описывавшего тяжелое финансовое положение генерала Каульбарса, было принято решение (15 апреля) вернуться к старому своему постановлению от 2 апреля 1923 г. и послать через болгарского дипломатического представителя во французской столице Каульбарсу 5 000 левов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 78].

Относительно болгарских ополченцев следует добавить, что еще в августе 1923 г. связи с 45-летием Шипченской эпопеи Центральная комиссия приняла решение отпустить 100 000 левов центральному Обществу ополченцев, которое должно было распределить деньги между крайне нуждавшимися ветеранами [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 57].

30 августа Центральная комиссия распределила ветеранов на 5 групп (категорий). В первую группу было включено 50 человек, во вторую группу – 17 человек, живущих в Болгарии. В третью группу – участники войны, проживавшие вне границ Болгарии. В четвертую группу – 2 участника боевых действий на Кавказском фронте. В пятую группу вошли 8 тыловиков. Денежные средства (184 500 левов) были распределены между ними в соответствии с воинскими чинами ветеранов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 47, 59].

В сентябре–октябре Комиссия рассматривала вопрос о прекращении своей деятельности. Так, 11 сентября в Комиссии было принято решение об услови-

ях отпуска: раздача всех собранных сумм, печатный отчет о деятельности, доклад в Совет министров с просьбой о ликвидации. Через некоторое время члены Комиссии пришли к решению о том, что суммы, оставшиеся после выдачи ополченцам и ветеранам, могут быть выплачены потомкам участников Освободительной войны, крайне нуждавшимся ополченцам из 10-й дружины, деятелям Болгарского Возрождения и Освобождения, лицам, участвовавшим в подготовке к военным действиям и живущим в Турции и Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Из остатка средств предполагалось оплатить и расходы Комиссии по печатанию приглашений, юбилейных марок, отчетов, по командировкам.

Обсуждение вопроса о ликвидации Центральной Комиссии было связано с созданием Союза русских ветеранов (СВР) в Болгарии. Еще летом 1923 г. возникла идея об учреждении самостоятельной организации ветеранов, входивших тогда в Союз русских инвалидов в Болгарии. В Уставе Союза, утвержденного 8 декабря 1923 г., было записано, что одна из его целей состоит в оказании материальной помощи своим членам [1. Ф. 264к. Оп. 2. Д. 8332. Л. 21, 122]. Таким образом налицо было совпадение функций.

Но деятельность Центральной комиссии по сбору помощи в стране продолжалась. В этой связи можно упомянуть следующее: по состоянию на 5 октября были оприходованы средства, полученные от 11 банков, Софийской Митрополии, окружных и околийских управлений. Новые суммы от различных институций поступали и в течение ноября–декабря 1923 г. [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 63–64, 69, 70, 72, 73].

До конца 1923 г. Центральная комиссия продолжала пополнять и уточнять списки ветеранов, их вдов, потомков, заслуженных участников войны, живущих вне Болгарии [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 56, 63–68]. К 5 ноября Комиссия располагала средствами в сумме 342 308 левов. Русским ветеранам, проживавшим в Болгарии, было решено выдать по 2 000 левов и дополнительно по 200 левов на каждого члена его семейства. Участники войны, проживавшие в Королевстве сербов, хорватов и словенцев и в Турции, получали также по 2 000 левов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 66].

В конце декабря, к новогодним и рождественским праздникам, русские ветераны получили вспомоществование по списку, представленному Союзом русских ветеранов. Суммы были распределены по категориям: 1 – 1500 левов, 2 – 1000 левов, тыловики – 700 левов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 73].

Из общей суммы собранных в 1923 г. средств в 800 000 левов, не менее 210 000 левов были переданы Центральному Обществу ополченцев для крайне нуждавшихся членов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 57, 63, 71]. Сюда не были включены деньги, розданные отдельным ополченцам и другим заслуженным лицам. Оставшаяся часть с вычетом расходов Центральной и местных комиссий роздана была русским ветеранам [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1048. Л. 56, 57; 2. С. 164].

Сбор и распределение помощи продолжались и в 1924 г. В начале января поступали средства от Софийской Митрополии и из десятков городов [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 74]. В январе и в марте выделялось по 500 левов вспомоществования из пожертвованных средств. Комиссия организовала и празднование Дня Освобождения (3 марта) с панихидой по павшим героям и молебном о здравии живым ветеранам. Началась выдача средств их вдовам и потомкам [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 77]. Размер выплат был невелик, а сами просьбы не-

которых ветеранов остались без удовлетворения. Вероятно, это обусловлено несколькими причинами: сокращением денежных поступлений, неясным положением Центральной комиссии в связи с будущим ее роспуском, планами выплаты месячного государственного пособия русским ветеранам от болгарского правительства.

На заседании Центральной комиссии (15 апреля) было принято решение о выделении денежной помощи по случаю пасхальных праздников: 1 категории – 1000 левов, 2 категории – 800 левов. При этом каждому из членов семейства ветеранов обеих категорий выдавалось по 100 левов. Впервые было принято решение о предоставлении средств и ветеранам, живущим вне границ Болгарии, в том числе и генералу Василию Ивановичу Селисанову 1500 левов.

В начале 1924 г. Центральная комиссия поставила перед Советом министров вопрос о предоставлении народной пенсии русским ветеранам. После согласования с Министерством обороны парламентская комиссия внесла 23 июня 1924 г. в XXI Обыкновенное народное собрание предложение о ее предоставлении офицерам запаса, нижним чинам и чиновникам, участвовавшим в Освободительной войне, достигшим 65 лет, являющимся нетрудоспособными и влачащим нищенскую жизнь. Народное собрание приняло закон о предоставлении ежемесячного государственного пособия в размере 1000 левов каждому из 52 русских ветеранов. Указом № 31 от 11 июля 1924 г. царь Борис утвердил принятое решение [1. Ф. 258к. Оп. 2. Д. 429. Л. 2, 3, 8, 9–10; 4]. В связи с этим Совет министров обязал председателя СРВ генерал-майора Лазарова и начальника отдела вероисповедания МИД Георгия Цветинова ликвидировать Центральную комиссию по сбору помощи ветеранам Освободительной войны до 1 августа 1924 г. [1. Ф. 264к. Оп. 2. Д. 8332. Л. 153].

26 июля Комиссия на своем заседании пришла к заключению, что ее ликвидация в этот срок невозможна, так как большая часть юбилейных марок, распространенных в стране, еще не продана, а из некоторых городов не присланы собранные средства. Комиссия решила обратиться в Совет министров с просьбой о продлении ликвидационного срока, что позволило бы ей продолжить продажу юбилейных марок. А в связи с тем, что ежемесячное государственное пособие недостаточно для обеспечения нужд ветеранов, Комиссия просила разрешить напечатать новые марки, и таким образом получить для ветеранов дополнительные средства [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 84]. 31 июля Центральная комиссия отправила в Совет министров соответствующий доклад, а 2 августа Совет министров постановлением № 5 разрешил продолжить деятельность Комиссии до 1 ноября 1924 г., после чего она должна быть расформирована [1. Ф. 264к. Оп. 2. Д. 8332. Л. 149].

До этого времени, помимо сбора пожертвований, Центральная комиссия продолжила деятельность по установлению прав ветеранов, которые по разным причинам слишком поздно обратились с просьбой о предоставлении им помощи или государственного месячного пособия. Эта работа проводилась при взаимодействии с СРВ, и, как свидетельствуют документы из архива Комиссии, она продолжалась еще и в 1925 г. [1. Ф. 258к. Оп. 2. Д. 429. Л. 44].

28 ноября Центральная комиссия направила в Совет министров доклад с просьбой установить в качестве срока ликвидации 31 декабря 1925 г., а также разрешить ей выделить Центральному органу Ополченческого общества 5 тыс. левов, чтобы оно могло рассчитаться по суммам, потраченным на празднование очередной годовщины боев на Шипке, и одобрить расходы на бан-

кет для ветеранов, “на котором они были единственными представителями русского народа, приглашенными на освящение храма-памятника Александра Невского” [1. Ф. 264к. Оп. 2. Д. 8332. Л. 151].

Уже 1 декабря 1924 г. Совет министров письмом известил Центральную комиссию об одобрении ее доклада [1. Ф. 264к. Оп. 2. Д. 8332. Л. 150]. 5 декабря 1924 г. на своем следующем заседании Комиссия заслушала информацию о письме из Совета министров и решила несколько вопросов о предоставлении помощи отдельным нуждающимся ветеранам. Среди прочего Комиссия постановила предоставить 5000 левов супруге покойного генерала Паренсова, живущей в Советском Союзе и “изнемогающей в Ленинграде”. Кроме того, было выделено четырем ветеранам по 500 левов на лечение и на похороны трех ветеранов – Филимонова, Бедриной и Пузанкова [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 88].

22 декабря 1924 г. в связи с рождественскими и новогодними праздниками Центральная комиссия выделила по 1000 левов “признанным ветеранам”, имена которых и суммы были уточнены, согласно требованиям Совета министров. Была предоставлена помощь также еще девяти ветеранам, и среди них – 500 левов предназначалось живущему в Кюстендиле Павлу Отоновичу Радецкому, племяннику Ф.Ф. Радецкого, командовавшего обороной на Шипченском перевале. Комиссия продолжала опекать и ополченцев [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 89]. Следует отметить, что в этом и в предыдущем протоколах в списки на оказание помощи были включены имена новых ветеранов, их потомков и вдов, которые не получали ежемесячного государственного пособия.

28 января 1925 г. Председатель СРВ генерал Смагин докладывал на заседании Центральной комиссии о своем посещении МИДа. Какой-либо комментарий по этому поводу в протоколе отсутствует [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 90]. На этом же заседании принято решение об оказании помощи русским ветеранам генералам Г.Е. Берхману и Н.В. Савойскому в связи с отъездом их из страны.

7 апреля 1925 г. на заседании Центральной комиссии по инициативе председателя СРВ рассматривался вопрос о распространении в случае смерти ветерана действия закона о предоставлении ежемесячных государственных пособий на его законных наследников – жену, дочь или сына, если они нетрудоспособны. По этому поводу решено было обратиться в Совет министров. Одновременно член Комиссии Г. Цветинов заявил что “государственное пособие в размере 1000 левов в месяц недостаточно для удовлетворения их самых необходимых потребностей”. Комиссия приняла решение обратиться с новым докладом в Совет министров с предложением продолжить продажу юбилейных марок через нотариусов или таможенные пункты.

Были приняты и конкретные постановления: предоставить ветеранам денежную помощь в размере от 1000 левов – в связи с пасхальными праздниками; выделить 3600 левов в качестве вознаграждения за труд персоналу – секретарю, архивариусу и двум писарям; увеличить пособие жене Паренсова с 3000 до 5000 левов; предоставить ветерану д-ру Боеву на лечение 3000 левов и по 1000 левов на похороны ветеранов Гребеновского и Жукова; одобрить расходы в сумме 3762 лева, истраченные 3 марта на банкет для ветеранов по случаю Дня освобождения.

30 мая 1925 г. Центральная комиссия продолжила оказывать помощь всем “признанным” ветеранам в связи с праздником свв. Кирилла и Мефодия (по

500 левов), в том числе и вдове ветерана Гребеновского, живущей в Ямболе. За большие заслуги в деле оказания помощи ветеранам председателю Союза генералу Смагину было выплачено 1000 левов.

Комиссия продолжала действовать еще некоторое время. Из сохранившихся протоколов следует, что в 1925 г. Центральная комиссия собиралась на свои заседания пять раз, занималась распределением имеющихся средств среди нуждающихся ветеранов, их вдов и потомков и организовывала продажу юбилейных марок. Правительство продлило ее существование на 1925 г. Последнее заседание Центральной комиссии состоялось 18 февраля 1926 г. На нем комиссия отчиталась о вновь поступивших доходах и решила “направить последнее предупреждение еще не отчитавшимся учреждениям, иначе их дело будет передано следственным властям”. Кроме того, в окончательной форме был принят текст доклада в Совет министров с просьбой продлить деятельность Комиссии, разрешить напечатать новые юбилейные марки; была оказана помощь больным русским беженцам [1. Ф. 166к. Оп. 1. Д. 1049. Л. 95]. О существовании Центральной комиссии еще и в середине 1926 г. свидетельствует посланное ею письмо в министерство финансов от 15 июня 1926 г. с сообщением о необходимости прекратить выплату государственного пособия в связи со смертью 6 июня ветерана Андрея Флоровича Боринова [1. Ф. 258к. Оп. 2. Д. 429. Л. 52]. Но в дальнейшем деятельность Комиссии постепенно замирает. С 1927 г. задачу ежегодного сбора помощи для русских ветеранов берет на себя Министерство внутренних дел и здравоохранения.

Последняя информация о Центральной комиссии касается ее фондов, сохранившихся в Болгарском народном банке и Болгарском земледельческом банке, в которые до конца 1928 г. – начала 1929 г. поступали суммы от ежегодных акций по сбору помощи [1. Ф. 264к. Оп. 2. Д. 8332. Л. 91–92, 130–131, 135–137]. Законом “Об общественной поддержке” от 1 марта 1935 г., распространявшимся на болгарских и русских инвалидов, отдельный сбор помощи в пользу русских ветеранов отменялся [1. Ф. 264к. Оп. 2. Д. 8332. Л. 44–45, 60]. 3 марта 1939 г. в связи с празднованием 60-летнего юбилея Освободительной войны в последний раз был организован сбор помощи для русских ветеранов; полученные суммы были переведены в Союз русских ветеранов [1. Ф. 264к. Оп. 2. Д. 8332. Л. 39].

Комиссия как орган, проводивший политику болгарского государства и общества, продемонстрировала сопричастность к судьбе ветеранов русско-турецкой войны 1877–1878 гг., вынужденных покинуть Советскую Россию. И в этом ее историческое значение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ЦДА.
2. Българи и руси освободили Бългaрия. 1877–1878. София. 2002.
3. *Кьосева Ц.* Руската емиграция в Бългaрия. София, 2002.
4. Държавни вестник. 1924. № 87.



© 2005 г. И. В. КРЮЧКОВ

РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ НА НАЦИОНАЛЬНО-ЦЕРКОВНЫХ СОБОРАХ СЕРБОВ ВЕНГРИИ В 1902–1907 ГОДАХ

Положение сербов в Южной Венгрии и Хорватии всегда интересовало российских дипломатов, работавших в Австро-Венгрии. Особое место в своих донесениях они отводили анализу ситуации вокруг церковно-школьной автономии сербов, видя в этом основополагающий фактор социально-экономической, общественно-политической и духовной жизни сербов Венгрии и Хорватии. Эта проблема на рубеже XIX–XX вв. очень беспокоила российских дипломатов. По их мнению угроза автономии сербов исходила от венгерского правительства, стремившегося ограничить права сербов и междоусобиц внутри самой автономии [1. Ед. хр. 577. Л. 52].

В 90-е годы XIX в. Генеральный консул России в Будапеште акцентировал внимание МИД России на разгорание конфликта среди сербов. Его причину он усматривал в желании епископата сербской православной церкви изменить демократический характер автономии, исключив из ее администрации светских лиц и сосредоточив в своих руках всю полноту власти. Для этого епископат подготовил “Устав об объединении”, представленный на сербский национально-церковный собор в 1892 г. Согласно предложенному уставу, несколько менялся порядок избрания 25-ти депутатов собора от духовенства. Если раньше их избирало население, то теперь депутатов должен был выбирать сам клир. Российский консул называл данный проект “реакционным” и представляющим реальную угрозу сербской автономии [1. Ед. хр. 577. Л. 53].

Разумеется, собор 1892 г., как и собор 1897 г., несмотря на специальное обращение премьер-министра Венгрии Д. Банфи, провалил устав. После чего собор 1897 г. был сразу же распущен. Светские деятели сербов тоже не остались в долгу, развернув ожесточенную критику в адрес Сербского Карловицкого патриарха Г. Бранковича, который обвинялся во всех смертных грехах, начиная от казнокрадства и заканчивая безнравственностью, что подрывало авторитет патриарха и духовенства в целом в глазах рядовых сербов. Эта борьба, по мнению консула, самым негативным образом сказывалась на развитии народного просвещения и благотворительности в сербских общинах [1. Ед. хр. 577. Л. 53].

Некоторые надежды российское генеральное консульство в Будапеште возлагало на созыв собора в 1902 г. Однако дипломатов сразу же насторожил

Крючков Игорь Владимирович – д-р ист. наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Ставропольского государственного университета.

ошеломляющий успех во время выборов депутатов собора сербских радикалов, которые не гнушались никакими средствами, даже незаконными, для достижения успеха.

Собор начал свою работу 6 июня 1902 г. в торжественной обстановке. На нем присутствовал вице-спикер нижней палаты венгерского парламента Бела Таллиан в качестве королевского комиссара, которого собор приветствовал под звуки венгерского гимна. После чего на венгерском и сербском языках было зачитано королевское обращение к депутатам собора – к большому недовольству одного из лидеров радикалов Г. Красоевича, протестовавшего против его прочтения на венгерском языке. В своей речи Таллиан подчеркнул братство венгерского и сербского народов, скрепленное долгой и упорной борьбой против турок. Он отметил патриотизм и верность сербов венгерской короне, заслуживших свою автономию, дела в которой, правда, требовали, по его мнению, некоторого упорядочения. Королевский комиссар призвал депутатов к действию во имя интересов всего сербского народа, а не в личных или групповых интересах. “Право самоопределения представляет собой громадное преимущество, которое гарантируют вам наши государственные законы; необходимо только, чтобы те, которым представлены эти привилегии, пользовались своими правами беспристрастно, без задней мысли и личных соображений, не внося в дело никаких личных симпатий или антипатий и никаких эгоистических целей”, – заявил он [1. Ед. хр. 577. Л. 141].

Далее королевский комиссар прямо призвал депутатов и весь сербский народ пойти за патриархом и архиепископами, действия которых поддерживают король и правительство Венгрии, уверенные в том, что только они способны консолидировать сербов. С некоторым чувством горечи он отметил одну особенность в национальном характере как сербов, так и венгров: “Сербы имеют одну общую племенную черту с венгерцами: и те, и другие ссорятся между собой, за неимением другого противника... Раздор всегда ведет за собой опасности”, так как другие нации объединяются и могут использовать распри среди сербов или среди венгров в своих интересах [1. Ед. хр. 577. Л. 143]. В заключении комиссар призвал собор работать на благо общего отечества – Венгрии. В своем выступлении патриарх также обратил внимание участников собора на необходимость объединения сербов, ибо от этого зависит будущее национально-религиозной автономии сербского народа. Кроме того, патриарх выразил чувство благодарности королю и правительству Венгрии за разрешение созыва собора и заверил их в незыблемости патриотических чувств сербов.

Однако большинство участников собора были настроены явно воинственно. Они собрались дать бой патриарху и его окружению, несмотря на то, что король в своем обращении к участникам собора попросил воздержаться от обсуждения в синоде сербской православной церкви некоторых наиболее скандальных вопросов. К их числу относились: 1) рассмотрение жалоб на патриарха; 2) обсуждение кандидатуры на вакансию епископа в Темешваре, пока не будут урегулированы все имущественные вопросы; 3) дело епископа Г. Змяновича, обвиненного в ряде злоупотреблений, в которых правительство Венгрии само обещало беспристрастно разобраться.

Уже с первых дней деятельности собора светское большинство заняло жесткую позицию по отношению к духовенству. Проверив финансовые отчеты, оно признало неудовлетворительным состояние в этой сфере дел автономии, о чем тут же было уведомлено венгерское правительство. В ходе бурного обсуждения, часть депутатов обвиняла своих оппонентов в угодничестве и игнорировании интересов сербского народа, ссылаясь на то, что новая волна склок

с духовенством и тем более обращение к венгерскому правительству дадут последнему основание для мадьяризации сербских школ и ущемления прав сербской церковной автономии [1. Ед. хр. 577. Л. 135–136].

После жарких дискуссий под влиянием радикалов большинство собора приняло решение лишить духовенство права управлять недвижимым имуществом монастырей, которое впредь под контролем собора должно было сдаваться в аренду. Часть средств от ренты предполагалось направить на нужды монастырей, а остальную – в специальный фонд на развитие сербского образования. Духовенство, разумеется, было против этого и апеллировало к королю. За помощью к Францу Иосифу обратились и радикалы. Король оставил управление недвижимостью в руках духовенства. Тогда радикалы обратились за содействием к премьер-министру Венгрии И. Тисе, но он также отказался поддержать их требования. Радикалы покинули собор в знак протеста. Вскоре представители духовенства одержали еще одну победу: собор принял решение о создании Карловицкой духовной семинарии. Король разрешил ежегодно выделять на нее 40 тыс. крон из “Текелейского благотворительного фонда”. Кроме этого, 1/3 доходов от данного фонда должна была отчисляться в пользу четырех венгерских православных епархий [2. Ед. хр. 578. Л. 266]. В свою очередь радикалы хотели пустить эти средства на просветительские цели.

Таким образом, в споре между духовенством и радикалами на соборе 1902–1903 гг. венгерское правительство и монарх явно заняли позицию в пользу первых, что объяснялось их недоверием к радикалам. Правящие круги Венгрии не без оснований полагали, что радикалы, захватив в свои руки огромные финансовые ресурсы автономии, пустят их на политические цели и прежде всего на укрепление своих позиций среди сербского населения. Кроме того, вызывал опасения возможный контроль радикалов над сербскими образовательными учреждениями, так как эти политические силы ассоциировались с распространением в обществе идей социализма и сепаратизма. Король и правительство видели в духовенстве силу, способную противостоять этим негативным тенденциям.

Российский генеральный консул в Будапеште А. Львов внимательно следил за развитием событий на соборе 1902–1903 гг. Его очень настораживал рост накала борьбы между духовенством и радикалами. В этой связи в донесении от 18 февраля 1903 г. он писал следующее: “Проявившаяся в данном вопросе (об управлении недвижимостью монастырей. – *И.К.*) среди венгерских сербов рознь даст правительству предлог к весьма нежелательному, в интересах сербов, вмешательству во внутренние дела их церковно-школьной автономии” [1. Ед. хр. 578. Л. 66]. Одновременно консул полагал, что поражение радикалов на соборе 1902–1903 гг. не есть поражение сербского народа, ибо их атеизм и сочувствие к социализму негативно сказывались на устроениях сербов. В конфликте духовенства и радикалов А. Львов был на стороне клира, так как, на его взгляд, на всем протяжении сербской истории православная церковь являлась защитницей интересов сербов, хранительницей основ их бытия, и дискредитация церкви в глазах населения отразилось бы весьма отрицательно на духовном и национальном развитии сербов, что могло привести к потере ими самобытности [1. Ед. хр. 578. Л. 267]. В целом консула очень тревожило будущее сербской церковно-школьной автономии в условиях нарастания мадьяризаторских тенденций во внутренней политике правительства Венгрии.

Очередной всплеск интереса российских дипломатов к положению сербов в Венгрии проявился в декабре 1906 г., когда начал свою работу очередной сербский национально-церковный собор. На выборах депутатов собора радикалы вновь имели успех, получив 41 место из 82, причем они победили практи-

чески во всех сербских общинах Южной Венгрии, и прежде всего Баната, тогда как их противники торжествовали в Хорватии и Славонии. Правительство Венгрии не прислало на собор королевского комиссара, сославшись на то, что оно полностью доверяет своим сербским гражданам. По мнению генерального консула России в Будапеште, это было сделано по другим причинам, ибо венгерское правительство рассчитывало на будущий конфликт между большинством собора и патриархом, что дало бы ему возможность вмешаться в дела автономии и выступить в качестве третейского судьи, что укрепило бы авторитет правительства среди сербов [1. Ед. хр. 581. Л. 5].

Как только собор начал работу, радикалы сразу потребовали снять сан патриарха с Г. Бранковича за присвоение средств из фондов автономии. Такие жесткие действия радикалов по отношению к патриарху вызвали шок в Венгрии и за ее пределами, включая МИД России. Первые нападки на Г. Бранковича прозвучали еще на соборе 1894 г., когда светские депутаты обвинили патриарха в корыстном использовании средств из фондов автономии. На соборе 1907 г. специальная комиссия, проверяя финансовые отчеты с 1888 г., нашла серьезные нарушения в сдаче в аренду церковного имущества, включая землю. При этом патриарх, согласно выводам комиссии имел свой процент от сдачи собственности в аренду. Комиссия обвинила патриарха в присвоении 70 тыс. крон, которые он должен был либо вернуть, либо предстать перед судом. Патриарх, духовенство и часть мирян, несогласные с обвинениями, покинули собор и обратились к премьер-министру Венгрии Ш. Векерле с просьбой закрыть собор и отменить его решения до выяснения всех спорных моментов за пределами собора [1. Ед. хр. 581. Л. 7].

Премьер-министр оказался в очень трудном положении. Выступая в парламенте Венгрии он, разумеется, обещал разобраться во всех обстоятельствах конфликта между патриархом и сербскими радикалами и проверить обвинения, предъявленные патриарху. Венгерская пресса и общественность требовали немедленного вмешательства правительства в данный конфликт. Некоторые газеты и политические деятели выступали за ликвидацию самой автономии. Умеренные круги ратовали за временное приостановление деятельности автономии до наведения в ней порядка и установления жесткого контроля со стороны правительства Венгрии над церковно-просветительскими учреждениями венгерских сербов.

Ситуация осложнялась еще тем, что во время борьбы венгерской национальной оппозиции с короной в 1903–1906 гг. радикалы решительно поддерживали оппозицию, в то время как патриарх и сербское духовенство оказались на стороне короны и правительства Г. Фейервари. Радикалы везде заявляли о поддержке борьбы “мадьярского народа за свои национальные права”, на парламентских выборах 1906 г. они агитировали за проправительственную коалицию во главе с Ш. Векерле, Ф. Кошутом и А. Аппоньи.

Вследствие всего этого на общем собрании “партии независимости” ораторы требовали от правительства утвердить решения собора и лишить Г. Бранковича сана патриарха. Депутат венгерского парламента граф Баттяни призвал Ф. Кошута сделать это во имя союза с южными славянами [1. Ед. хр. 581. Л. 89]. В то же время правительство Венгрии и подавляющая часть правящей элиты страны сомневались в искренности заявлений сербских радикалов и их показном мадьярофильстве, понимая, что это тактическая уловка. С другой стороны, патриарх и духовенство сербской православной церкви всегда демонстрировали лояльность по отношению к короне и правительству Венгрии. Все это и привело к некоторому замешательству Ш. Векерле. К тому же последний не мог не учитывать мнение сербов Триединого королевства, не скрывав-

ших симпатий к патриарху. Их печатный орган – газета “Србобран” – не раз осуждала действия радикалов на соборе.

Российское генеральное консульство вновь осудило действия сербских радикалов. Уже в первом своем донесении от 5 февраля 1907 г. консул А. Львов писал о неспособности собора 1907 г. плодотворно работать из-за позиции, занятой на нем радикалами. “...Он всецело отдался бесконечному политиканству и личным нападкам на патриарха Г. Бранковича”, – заключил консул [1. Ед. хр. 581. Л. 5]. Все беды сербов Венгрии А. Львов видел в начале новой фазы борьбы светских лиц с духовенством за контроль над фондами автономии. По его мнению, радикалы стремятся подорвать доверие сербского населения к духовенству, не гнушаясь при этом никакими средствами, включая клевету и нарушение закона. На их пути стоит патриарх Г. Бранкович, которого они хотят убрать любыми путями, чтобы посадить на патриаршество удобного и подчиняющегося им человека, жертвующего в партийные кассы радикалов средства из фондов автономии. И на взгляд А. Львова, Ш. Векерле прекрасно осознавал эти истинные цели сербских радикалов [1. Ед. хр. 581. Л. 90]. Генеральный консул не мог в апреле 1907 г. четко ответить на вопрос: кого поддержит Ш. Векерле, но в чем он нисколько не сомневался, так это в том, что “...венгерское правительство не применит использовать этот конфликт (между радикалами и духовенством. – *И.К.*) в интересах мадьяризации, в ущерб законным правам как сербской православной церкви, так и самой сербской народности в Венгрии” [1. Ед. хр. 581. Л. 8].

Смерть в июле 1907 г. патриарха Г. Бранковича вызвала большое беспокойство среди российских дипломатов, работавших в Австро-Венгрии. Российский консул в Фиуме (Риеке) Сальвиати в своем донесении от 8 августа 1907 г. с тревогой писал о возможном начале нового наступления венгерского правительства на права сербской автономии [1. Д. 1508. Л. 33]. Сальвиати полагал, что сербы к 1907 г. фактически уже потеряли автономию, так как их церковная жизнь давно зависит от партийных склок и интересов, что выхолащивает сам смысл церковно-школьной автономии, собор же сохранил свои права только на бумаге. Борьбу вокруг избрания патриархом Богдановича консул в Фиуме назвал попыткой Венгрии полностью уничтожить автономию венгерских сербов. Однако, по его мнению, сербский народ не отдаст свои права без боя [1. Д. 1508. Л. 120].

Таким образом, к середине 1907 г. сотрудники МИД России, работавшие в Венгрии, весьма скептически оценивали перспективы сербской церковно-школьной автономии, особенно после смерти патриарха Г. Бранковича. Они не сомневались в желании правительства Венгрии ограничить или вообще отменить автономию, как явное препятствие на пути мадьяризации сербов. Консулы России в Будапеште и Фиуме, отмечая факт острейшей борьбы между сербскими радикалами и духовенством, видели в этом главную причину слабости сербской автономии в ее противостоянии с правительством Венгрии. В конфликте сербских радикалов с духовенством российские дипломаты явно симпатизировали последним, так как радикалы у них устойчиво ассоциировались с распространением в сербском обществе атеизма и социалистических идей, что, по их мнению, вело к разрушению национальной самобытности сербов, носителем которой являлась сербская православная церковь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архив внешней политики Российской империи. Ф. 151. Политархив. Оп. 482.



G. MARINELLI-KÖNIG. Oberungarn (Slowakei) in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1848). Blicke auf eine Kulturlandschaft der Vormoderne. Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme der Beiträge über die historische Region und ihre kulturellen Verbindungen zu Wien. Wien, 2004. 779 S.

Г. МАРИНЕЛЛИ-КЁНИГ. Верхняя Венгрия (Словакия) в венских журналах и альманах предмартовского периода. Взгляд на культурный ландшафт донациональной эпохи. Попытка критической систематизации упоминаний об исторической области и ее культурных связях с Веней.

Австрийский славист Гертрауд Маринелли-Кёниг многие годы успешно трудится над серией тематических комментированных библиографических справочников “Славистика в венских журналах и альманахах предмартовского периода (1805–1848)”. Уже вышли в свет и получили положительную оценку российских славистов тома, посвященные России, полякам и русинам, а также южным славянам [1. С. 264–276]. Очередной том знакомит читателя с прошлым культурно и этнически многообразной исторической области Венгерского королевства и, соответственно, Австрийской империи – Верхней Венгрии, составляющей в настоящее время территорию Словацкой Республики. Книга, традиционно озаглавленная “Верхняя Венгрия (Словакия) в венских журналах и альманахах предмартовского периода” имеет важный подзаголовок: “Взгляд на культурный ландшафт донациональной эпохи (Vormoderne). Попытка критической систематизации упоминаний об исторической области и ее культурных связях с Веней”.

История Словакии, как и история словацкого народа, относится к числу столь интересных, столь и сложных тем для историков и литературоведов. Так называемый неисторический народ, обретший литературный язык во второй половине XIX в., а государственность на заре новейшего времени, веками был заложником мифотворчества соседних, “исторических”, народов и собственной интеллигенции. Изучение Новой истории словаков требует от ученого глубоких познаний по истории сопредельных стран и народов, в тесной связи и зависимости с которыми формировалась словацкая нация, и выверенных исследовательских методик, позволяющих по, порой, косвенным или отрывочным свидетельствам реконструировать историческое прошлое во всем его социокультурном многообразии.

Верхняя Венгрия занимала особое место на культурной карте Австрийской империи по ряду причин. В раннее Новое время Габсбургам при поддержке католической Европы удалось предотвра-

тить завоевание этой части королевства османами. Переход в XVI в. значительной части населения в протестантизм, искоренить который не удалось ни путем “жесткой” (в XVII в.), ни в ходе “мягкой” (XVIII в.) рекализации, создал благоприятную почву для распространения грамотности среди немецко- и венгероязычного населения, а использование чешского перевода Библии повышало интерес к диалектам словацкого языка и способствовало объединению усилий по созданию литературного аналога. После закрепления османов в Среднем Подунавье верхневенгерский Прессбург (совр. Братислава) на несколько столетий стал административной столицей габсбургской Венгрии и резиденцией примаса венгерской католической церкви. Комитаты Верхней Венгрии обладали самым многочисленным и политически четко структурированным дворянством, а города – богатым и высокообразованным патрициатом. Культурные запросы этих слоев обслуживали Трнавский университет, многочисленные, как католические, так и протестантские, коллегии (средние учебные заведения). Все это создавало уникальные условия для межкультурных связей.

Маринелли-Кёниг поставила перед собой задачу систематизировать упоминания о Верхней Венгрии в венской прессе первой половины XIX в., когда политические и культурные процессы, шедшие у венгров, словаков и немцев параллельно и в тесном взаимодействии, создавали уникальное пространство, в котором достижения одной культуры могли стать импульсом для другой, а сами действующие лица обладали несколькими идентичностями. Автора, как филолога и литературоведа, прежде всего интересует лингвистическая ситуация, при которой языками межнационального общения служили как мертвая латынь, так и переживавший пору высочайшего расцвета немецкий, когда стремление словацкой интеллигенции придать литературную форму родной речи и осмыслить прошлое своего народа не было осуществимо без обращения к немецкому, латинскому, а порой и венгерскому языку. Венские газеты и альманахи со

свойственным первой половине XIX в. интересом к событиям культурной и прежде всего литературно-художественной жизни, дают богатейший материал для сравнений и обобщений.

Специфика источника, с которым работает автор, обусловила то обстоятельство, что эта историческая область появляется на страницах тома в отраженном свете: читатель узнает о верхневенгерской общественной, культурной и научной жизни в той мере, в какой венские журналисты считали нужным информировать читателя, отвечая вкусам и запросам столичной публики. В томе нашли отражение (полностью или в виде регест) публикации из почти 40 журналов и альманахов, в числе которых как выходившие в свет всего несколько лет “Wiener Allgemeine Literaturzeitung” или “Österreichischer Geschichtsforscher”, так и просуществовавшие не одно десятилетие “Wiener Theaterzeitung” или “Wiener Zeitschrift”. Проблемно-хронологический порядок организации материала позволяет (по частоте упоминаний и подробности изложения) отслеживать динамику процессов или событий, определять степень интереса к тем или иным явлениям.

Особая роль Вены как центра притяжения для формировавшихся интеллигенций отдельных областей, земель и провинций империи уже была подробно рассмотрена Маринелли-Кёниг и ее (в том числе российскими) соавторами в коллективной монографии “Вена как магнит? Писатели из Восточной, Центрально-Восточной и Южной Европы о городе” [2]. Новая публикация служит отличной иллюстрацией многообразных культурных взаимодействий в таком важном центре культурного обмена, как австрийская столица. Газетные и журнальные публикации систематизированы по разделам: “Литература” (особое место отведено литературной критике), “Языкознание” (включая богемистику, германистику, словакистику и унгаристику), “Философия, эстетика и риторика”, “История”, “Образование” (не забыта и научная деятельность в рамках учебных заведений), “Искусство”, “Религия”, “Право”, “Краеведение”, “Полити-

ческая экономия”, “Естественные науки и математика”.

В конце XVIII – начале XIX в. складывавшиеся культурные венгерская, немецкая, словацкая элиты заметно активизировались: повсеместно открывались читательские кабинеты, создавались научные общества, основывались театральные труппы. На страницах венских журналов и альманахов в предмартовский период рецензировались едва ли не все значительные художественные произведения, толковые и энциклопедические словари, упоминались защиты диссертаций в университетах Трнавы и Кошице, освещалась деятельность научных обществ, критически разбирались театральные премьеры. Не меньше места занимают описания природы, перечисление ресурсов, которыми богат край, достопримечательности отдельных городов и населенных пунктов, наконец, нравы и обычаи местных жителей. Столичные периодические издания публиковали некрологи о наиболее выдающихся деятелях науки и культуры, университетских профессорах, врачах.

Обращение к донациональной эпохе, когда, с одной стороны, критерием самоопределения индивида была не национальная принадлежность, но подданство и вероисповедание, а с другой стороны, культурной доминантой становилась все более прочная связь родного языка с национальным сообществом, требует от ученого глубокого понимания менталитета, политических традиций и культурных практик общества, не знавшего национализма в современном смысле этого слова. Автор сознательно стремилась избегать как анахронизмов, так и вульгар-

ной модернизации, сопроводив том подробнейшим именованным и географическим указателями, в которых все топонимы и имена собственные приведены не только в современной словацкой, но и в их исторической немецкой и венгерской транскрипции. Тот же подход отличает, к слову, перевод на русский язык “Истории Словакии”, выполненный в Институте славяноведения РАН [3] и упоминаемый автором во вводной статье. Подобный орфографический плюрализм служит прекрасной иллюстрацией того теснейшего переплетения культур и многообразных взаимных влияний, той уникальной атмосферы, в которой жили в Верхней Венгрии (на территории современной Словакии) словаки, венгры и немцы.

Труд Г. Маринелли-Кёниг представляет большой интерес для историков и литературоведов. Он может служить как достоверным справочником, так и ценным источником по истории центральноевропейской культуры первой половины XIX в.

© 2005 г. О.В. Хаванова

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Павленко О.В. Россия в зеркале венской публицистики первой половины XIX века. Обзор // Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997.
2. Wien als Magnet? Schriftsteller aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa über die Stadt. Wien, 1996.
3. Маннова Е. и др. История Словакии. М., 2003.

Славяноведение, № 5

Болгария в XX в. Очерки политической истории. М., 2003. 462 с.

В 2003 г. в Москве в серии “XX век в документах и исследованиях” издательства “Наука” вышел фундаментальный труд “Болгария в XX в. Очерки полити-

ческой истории”. Его авторы – сотрудники Института славяноведения РАН (Т.В. Волокитина, Р.П. Гришина, Е.Л. Валева, Ю.Ф. Зудинов, Т.Ф. Мако-

векская, Г.Д. Шкундин) и сотрудник Института межэтнических исследований АН Молдовы (Н.Н. Червенков).

Целью исследования, обозначенной в предисловии ответственным редактором издания Е.Л. Валеовой, является освещение наиболее дискуссионных и малоисследованных вопросов истории Болгарии XX в. и прочтение уже известных ее страниц на принципиально новой источниковой базе. Благородная цель восстановления исторической правды на основе объективного анализа широкого круга ранее недоступных источников вызывает чувство благодарности к авторскому коллективу за проделанную огромную работу. Рецензируемый труд – это комплексное многомерное исследование, позволяющее глубже понять события политической истории Болгарии и охватывающее довольно большой и сложный период времени.

XX век, пожалуй, наиболее динамичный и противоречивый в истории Болгарии, “урожайный” по количеству политических переломов и потрясений, событий, диаметрально противоположной направленности (речь идет о смене общественно-политических систем), которые естественно затрагивали и даже сотрясали социально-экономическую жизнь страны и влияли на состояние культуры. Сложность задач, стоявших перед авторским коллективом, заключалась в том, что оценка части происходивших в стране процессов прежде проистекала из идеологических установок, а многие научные проблемы попадали под гриф “политически неудобных” для разработки.

Высокопрофессиональный авторский коллектив стремился на основе глубокого изучения источников и литературы объективно оценить негативные и позитивные черты прошедшей эпохи со всеми ее деформациями и противоречиями, восстановить историческую правду. Достоверность, степень обоснованности научных положений, аргументации, новизна исследования несомненны. Следует заметить, что круг проблем, поднимаемых авторами, гораздо шире заявленной темы, ибо они затрагивают и состояние экономики, жизненного уровня населения, этноконфессиональные конфликты

в стране и др. Благодаря исследовательскому таланту ученых появление рецензируемого исследования можно считать событием в исторической болгаристике и славистике.

Работа состоит из 12 глав, построенных по проблемно-хронологическому принципу, отличается стройной структурой, четкостью формулировок, логической завершенностью.

Оправдано начало исследования с событий последней четверти XIX в., когда, после обретения независимости, происходило формирование политической системы молодого болгарского государства, определялись основные направления социально-экономического, политического и культурного развития страны. Н.Н. Червенков изучил дискуссионную проблему болгаро-русских отношений, дал глубокий анализ болгарских партий русофобской и русофильской ориентаций, отмечая политическую разношерстность последней. Нельзя не согласиться с тезисом Н.Н. Червенкова о том, что раздробленность политических сил препятствовала созданию в Болгарии сильных политических партий, которые бы очертили классический треугольник на политическом небосклоне страны: консерватизм–либерализм–социализм (С. 15). Отсюда и коалиции, временные и беспринципные.

Говоря о болгарской политической истории рубежа XIX–XX вв., нельзя обойти вниманием македонскую проблему, краткий экскурс в которую совершает Г.Д. Шкундин, прежде чем перейти к вопросу о провозглашении независимости и объявлении Болгарии царством. Автор останавливается на дипломатических перипетиях проблемы, тщательно анализирует участие Болгарии в Балканских войнах и в Первой мировой войне. Г.Д. Шкундин опровергает ряд идеологизированных положений историографии: в частности о том, что болгарские уполномоченные собирались добиваться освобождения солдат отрезанной 11-й армии, боясь влияния революционно настроенных солдат (С. 88–89), об упреках в адрес министра А. Ляпчева, который якобы безоговорочно принял все условия, навязанные ему французским гене-

ралом Л. Франше д'Эспре, возглавлявшим войска Антанты, о "предательстве" руководителей БЗНС, о голословном утверждении Косты Тодорова относительно стремления А. Стамболийского остановить в ходе Владайского восстания солдат, двигавшихся к Софии, организовать оборону по всему фронту и обеспечить на переговорах с Антантой более благоприятные для Болгарии условия перемирия (С. 90). В работе поднимается также вопрос о роли Владайского восстания в определении окончательных условий перемирия.

Четко определена расстановка политических сил в "широкой коалиции" – новом правительстве, сформированном в октябре 1918 г. Т.Ф. Маковецкая правомерно отмечает ориентацию программы нового правительства с участием БЗНС, "широких" социалистов на все слои населения (С. 93–129). Автор дает глубокий анализ положения Болгарии после Первой мировой войны, приводит интересные статистические материалы по позициям разных политических группировок.

Известно, что результатом острейшей дипломатической борьбы стал выработанный на Парижской мирной конференции проект Нейского договора. В связи с этим особенно интересен вывод Г.Д. Шкундина о том, что вопреки господствовавшему в советской историографии тезису о подчиненном положении малых союзников Антанты в Версале, зачастую инициатива в решении того или иного вопроса исходила от "малых" государств, а "великие" прагматики вынуждены были потакать их экспансионистским программам (С. 121).

В разделе исследования, касающихся деятельности БЗНС, ее лидера А. Стамболийского, практической стороны сословной теории аграриев – постулата о крестьянском пути развития общества, акценты, на наш взгляд, представлены правильно и обоснованно.

Обращает на себя внимание аргументированный, взвешенный подход Р.П. Гришиной к событиям, посвященным государственному перевороту 9 июня 1923 г., его причинам и последствиям. Совершенно оправданно ставится

вопрос о судьбах парламента, критериях и ценностных ориентирах демократии, роли государства в отношениях между трудом и капиталом в годы послевоенного кризиса. "Земледельческий" режим с его попыткой насадить сословную диктатуру рассматривается как социальный эксперимент, специальное внимание уделено роли компартии накануне и после переворота 1923 г. Правомерно отмечается, что ввиду глубокой слабости режима идея единства нации выступала вялой, аморфной, она не смогла стать стержнем политики, направленной на объединение всего общества вокруг военизированного руководства, что не позволило носителям авторитаристской идеологии реализовать в полной мере свои цели (С. 166). Не вызывает сомнений тезис о том, что БКП, провозгласив ориентацию на социалистическую революцию и создание Балканской советской федеративной республики, тем самым декларативно признала готовность участвовать в разрушении Версальской государственно-территориальной системы в Юго-Восточной Европе. Р.П. Гришина справедливо отмечает, что взаимная заинтересованность руководства БКП и Советской России в ликвидации версальских постановлений становилась важным фактором для создания "особых отношений" между Болгарской компартией, Коминтерном и ЦК ВКП(б) (С. 167). Мобилизуя весь доступный документальный материал, оперируя интересными фактами, автор четко расставляет акценты в вопросах подготовки "левого" контрпереворота, динамики политического процесса 1926–1931 гг., от "блока демократии" до утверждения авторитарной власти царя. Р.П. Гришина приводит утвердившуюся в современной отечественной и болгарской историографии точку зрения по вопросу о характере событий 9 июня 1923 г. и режима А. Цанкова и опровергает марксистскую оценку переворота как фашистского (С. 167–168).

Нельзя не отметить интересные фотографии, наглядно сопровождающие и оживляющие богатый событиями XX в. болгарской политической истории.

Анализ внешнеполитического курса Болгарии является важной частью работы. В 1930-е годы он определялся обстановкой приближающейся войны. Балканский регион вновь стал превращаться в арену борьбы между великими державами, особенно усилилось проникновение сюда Германии. В этой атмосфере происходило развитие советско-болгарских отношений, характеризующихся, с точки зрения Е.Л. Валева, повышенным интересом руководства СССР к Болгарии, ее геополитическому положению, с одной стороны, и сдержанностью Болгарии и ее стремлением держать “шаг в ногу” с Германией, с другой стороны (С. 237). При этом положение Болгарии в союзе с Германией Е.Л. Валева считает предпосылкой формирования оппозиции болгарскому правительству внутри страны, началу антифашистской борьбы и корреляции стратегии и тактики ВКП(б), Коминтерна и БКП. Е.Л. Валева четко расставляет акценты в вопросе о характере власти в Болгарии в 1923–1944 гг., возвращается к дискуссиям, которые велись по этому вопросу в отечественной и болгарской литературе и обществе. В работе довольно четко обозначена роль Коминтерна в событиях внутри- и внешнеполитической истории Болгарии в межвоенные и военные годы в свете новых архивных документов, показаны цели и задачи направляемых в Болгарию политэмигрантов (С. 274–278). Е.Л. Валева глубоко, на мой взгляд, проанализировала четыре тезиса болгарского историка М. Минчева относительно событий 9 сентября 1944 г., следствием которых было установление строя, именуемого народно-демократическим (С. 297).

Важную исследовательскую задачу, связанную с выяснением внутренних и внешних факторов, обусловивших победу коммунистической альтернативы в Болгарии, ставит перед собой Т.В. Волокитина. Весьма убедительно звучат положения работы, посвященные складыванию коалиционной системы власти в Болгарии, формированию правительства Отечественного Фронта, первым мероприятиям нового кабинета, проблеме взаимоотношений власти и оппози-

ции. Отсутствие документов не позволяет автору делать однозначные выводы на предмет деятельности лидера “Звезна” К. Георгиева, однако нельзя не согласиться с предположением Т.В. Волокитиной относительно мотивов назначения профессионального военного во главе первого коалиционного правительства и его благополучной политической карьеры (С. 303).

Поднимая проблему “национального пути” Болгарии, Волокитина доказывает его универсальность для всех субъектов международного коммунистического движения стран Восточной Европы и рассматривает как синоним народно-демократической модели (С. 304–305). На большом фактическом материале Т.В. Волокитина демонстрирует раскол многопартийной системы в стране, создание “лояльной оппозиции” и справедливо отмечает ее недолговечность (хотя в болгарских исследованиях констатируется определенная демократизация политической жизни осенью 1945 г.).

На основе интересного статистического материала ею показан высокий удельный вес крестьян в БРП(к) – 44.74% (рабочих 26.5%) в первые послевоенные годы (С. 304), стремление партийного руководства обеспечить приток в партию рабочих. Впечатляют приводимые факты о деятельности репрессивных органов, правда автор оговаривает отсутствие точных статистических данных на этот счет (С. 313). Нельзя не согласиться с аргументами Т.В. Волокитиной о несостоятельности планов БРП(к) к 1948 г. нарастить и укрепить свой авторитет в массах.

Большой интерес вызывает материал о новом стратегическом курсе советского правительства в Восточной Европе в условиях “холодной войны” и эволюции политики ведущих держав Запада к доктрине “сдерживания” коммунизма. Т.В. Волокитина четко рисует путь от периода общедемократических программ к советской модели строительства социализма, мастерски подчеркивает переход от одного состояния общества к другому, определяя процесс как стремление советского руководства к усилению консолидации стран региона

(С. 338). Свертывание народно-демократической модели показано на базе анализа причинно-следственных связей, внутренних и внешних факторов, определивших судьбу болгарского плюрализма.

Период формирования и развития социалистической модели в Болгарии является логическим продолжением жизни Болгарии второй половины XX в. Нет сомнения в необходимости анализа такого важного вопроса, как переустройство государственного аппарата, “кадровая революция” – процесса смены политической элиты и создания новой социальной прослойки управленцев. Объективно анализируя процесс установления монополии компартии, функционирования механизма государственной власти и управления в стране, Т.В. Волокитина убедительно показывает номенклатурный принцип подбора и распределения кадров, характерный для “партийного государства”.

Период “реального социализма” анализирует Ю.Ф. Зудинов. Он предлагает разные трактовки этого понятия и правомерно подчеркивает, что по некоторым признакам практика строительства социализма в Болгарии не была полным копированием советских образцов, хотя в так называемой многопартийной системе Болгарии БКП занимала доминирующее положение. Зудинов исследует режим авторитарной власти Т. Живкова – живковизм – внутренние и внешние факторы, его породившие и питавшие, причины, приведшие к краху режима “реального социализма”. Он поднимает также ряд малоисследованных вопросов болгарской истории 1970–1980-х годов – диссидентское движение, этнорелигиозный фактор и др.

Логическим завершением анализа политической истории Болгарии XX в. явилось исследование постсоциалистического периода в последней части работы. Поиск Болгарией своего места в условиях крушения социалистической системы, создание основ рыночной экономики, утверждение парламентаризма – процесс нелегкий, усеянный ошибками, порой разочарованием населения, но дающий стимул для построения подлинного демократического общества. Хорошо

показаны внутри- и внешнеполитические приоритеты страны в последнем десятилетии XX в., ее “возвращение в Европу”, вступление в разного рода европейские организации. Ю.Ф. Зудинов справедливо указывает на несостоятельность стремления приходивших к власти сил преодолеть негативные процессы в социально-экономическом развитии страны, резкий спад в отношениях между Болгарией и Россией практически во всех сферах общественной жизни и в то же время выражает надежду на перспективу изменений к лучшему взаимоотношений двух стран, отмечает имеющиеся к тому предпосылки.

Красной нитью через всю работу проходит роль России, СССР в формировании политической системы Болгарии, и эта роль показана взвешенно, с учетом объективных и субъективных факторов, на основе многочисленных документальных материалов, многие из которых вводятся в научный оборот впервые.

Достоинства работы несомненны. Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что не в полной мере использована современная болгарская литература, в то время как по ряду поставленных в работе дискуссионных проблем болгарские историки имеют собственную точку зрения. В известной степени недоступность болгарской литературы обусловлена объективными причинами, связанными со сложностью книгообмена между Россией и Болгарией в постсоциалистический период.

Нам представляется также, что некоторые заявленные сюжеты могли бы быть рассмотрены целостнее. Так, весьма острая в 1980-е годы проблема этнорелигиозного фактора в болгарском обществе анализируется только на материале эпохи “реального социализма”.

В ряде параграфов авторы пытаются поднимать социально-экономические проблемы, рассматривать уровень жизни населения, и это понятно, так как социально-экономическая составляющая неразрывно связана с политической системой страны. Однако эти аспекты не обозначены как задачи исследования и потому проходят в работе эпизодически, небольшими мазками в отдельных гла-

вах. Более того, довлеющая роль аграрного сектора в экономике практически не упоминается, в то время как в начале XX в. Болгария была аграрной страной и таковой оставалась довольно долго.

В некоторых частях работы имеются повторы. Так, опровержению утвердившегося в марксистской историографии понятия “монархо-фашистская диктатура” и новой трактовке в оценке характера власти в Болгарии в 20–30-е годы XX в. авторы уделяют внимание дважды (С. 166–167, 264).

В целом, рецензируемая работа производит весьма благоприятное впечатление, авторский коллектив успешно

справился с поставленными перед собой задачами. Исследование проливает свет на ряд ранее малоизученных вопросов, является важным вкладом в историческую науку и займет достойное место среди трудов, посвященных болгарской истории. Книга найдет благодарных читателей среди историков, политологов, международников, регионоведов, будет полезна для преподавателей вузов, аспирантов, студентов, профессионалов-гуманитариев, вызовет интерес всех тех, кто интересуется историей.

© 2005 г. Э.Г. Вартаньян

Славяноведение, № 5

E. VORÁČEK. Eurasijství v Ruském politickém myšlení. Osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace. Praha, 2004. 350 S.

Э. ВОРАЧЕК. Евразийство в русском политическом мышлении. Судьбы одного из послереволюционных идеологических направлений русской межвоенной эмиграции

Монография научного сотрудника Исторического института Академии наук Чешской республики Эмиля Ворачека посвящена зародившемуся в среде русской эмиграции в 1920-е годы новому идейно-политическому направлению общественной мысли – евразийству. Бум исследований по истории российской диаспоры за рубежом, связанный с открытием архивов и отменой цензурных ограничений в конце 1980 – начале 1990-х годов, повлек за собой оживление интереса к послереволюционным идейным исканиям российских эмигрантов. Это по времени совпало с попытками по-новому переосмыслить роль России в изменившемся после революций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и распада СССР мире. И это также вызвало особое внимание к евразийству. Тема стала очень популярной и даже модной. Некоторые политиче-

ские течения, не утруждая себя серьезным изучением корней и идейных основ евразийства, назвали себя его последователями, хотя, по сути, они имеют слишком мало общего с учением предшественников. Поэтому необходимость серьезного исследования данной проблемы ощущалась весьма явно. Этот труд и взял на себя наш чешский коллега. Задача, надо признать, не из легких: ввиду междисциплинарного характера евразийства Ворачеку пришлось проработать огромный материал и изучить различные философские, социологические, географические, естественно-научные, геополитические концепции, существовавшие в России и Западной Европе в XIX – первой трети XX в. Без этого вряд ли удалось бы объяснить идейные основы, причины возникновения евразийского учения, представить его основные положения.

Книга имеет четкую структуру, состоит из предисловия, введения, семи глав и заключения, причем каждая глава делится на ряд небольших параграфов, что облегчает знакомство с исследованием. В приложении даны 28 редких фотографий основателей и приверженцев евразийства, нередко в кругу близких и родных, а также биографии основных представителей этого течения П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Г.В. Вернадского, Г.В. Флоровского, Л.П. Карсавина, П.С. Арапова и П.П. Сувчинского. И, хотя биографические обзоры весьма отличаются друг от друга по размеру (от нескольких страниц до одного–двух абзацев), это, безусловно, ценное дополнение к тексту монографии. В конце книги приведены списки использованных источников и литературы, сокращений, краткое резюме, сведения об авторе и указатель имен.

Э. Ворачек подошел к изучению предмета комплексно, рассмотрев как теоретическую, так и практическую составляющую евразийского движения. Исследование основано на богатом материале архивных хранилищ России, Чехии, Германии, опубликованных работах самих евразийцев, эмигрантской периодике 1920–1930-х годов и самой разнообразной литературе от общих трудов до специальных статей.

Первую главу автор посвятил разбору существующих архивных фондов по проблеме, хотя, логичнее, было бы сосредоточиться на материалах, непосредственно использованных автором. В этом смысле более удачным выглядит данный здесь же историографический обзор. Автор проработал огромный пласт литературы, начиная с работ самих эмигрантов до современных монографий и статей, где хотя бы затрагивается проблема евразийства. Из представленного историографического анализа ясно, насколько серьезно и скрупулезно подошел он к работе (только список использованных источников и литературы занимает 27 страниц).

Вторая глава повествует о духовных истоках евразийства. Автор рассматривает основные положения славянофилов, панславистов, теорию “особого русского пути”, взаимовлияния российской и

немецкой науки, геополитические и исторические истоки возникновения евразийства. В третьей главе Ворачек рисует картину возникновения евразийства на фоне других послереволюционных эмигрантских идейных течений и анализирует основные принципы евразийства. Четвертая глава затрагивает одну из центральных идей евразийцев – противопоставление Европы и России. В пятой главе рассматриваются разные стороны евразийского учения, представления евразийцев о религии и вере, культуре, политической системе и их экономические концепции. Политическая практика евразийцев, образование евразийских групп, съезд евразийцев, противоречия между ними и распад движения отражены в шестой главе. В последней главе автор обращается к спору о евразийстве и его месте в истории философии. В заключении он представил основные выводы проведенного исследования по реконструкции истории евразийского учения и движения. Ворачек выделил отдельные этапы движения евразийцев, зафиксировал основные события в развитии течения, обратил внимание на его динамику. Позитивным моментом евразийства автор считает критику догматического учения о европоцентризме и универсальности исторического развития по европейскому образцу. Евразийство, по его мнению, существенно отличалось от обоих основных идейных направлений – славянофильства и западничества, но ввиду полного неприятия западничества стояло ближе к славянофильству. Между самими евразийцами существовал ряд принципиальных разногласий, поэтому можно говорить о значительной дифференциации движения. Историческое исследование автор пытается связать с современными теориями евразийства, стремящимися найти выход из идейного кризиса и объяснить существующие российские проблемы своеобразием России, особенностью ее пути. К сожалению, автор редко высказывает собственные оценки, предпочитая оставаться в тени, ограничиваясь изложением происшедших событий и существовавших взглядов.

Досадным недоразумением является то, что книга о российской общественной

мысли мало доступна отечественному читателю, так как не содержит даже краткого резюме на русском языке, и это обидно, так как автор прекрасно им владеет. Правда, российские читатели, не знающие чешского языка, могут узнать о содержании монографии из резюме на английском, французском и немецком. Здесь сразу на память приходят истори-

ческие аналогии, когда славянские деятели собирались и обсуждали проблемы на ... немецком!

В целом исследование получилось достаточно глубоким и интересным, а в заключении автор обозначил и проблемы, требующие дальнейшей разработки.

© 2005 г. *Е.П. Серапионова*

Славяноведение, № 5

STUDIA POLONOROSSICA. К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко. М., 2003. 550 с.

К юбилею выдающегося слависта – полониста Е.З. Цыбенко Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Институт славяноведения Российской академии наук издали сборник статей ее сотрудников, соратников, учеников и друзей.

Исследовательские и педагогические заслуги профессора Е.З. Цыбенко трудно переоценить. “Для меня быть полонистом – это не только профессия, но и часть моей духовной жизни” – так сказано в одном из интервью ученого-слависта и попросту самоотверженного человека, посвятившего польской литературе всю свою творческую жизнь. Достижения Е.З. Цыбенко были высоко оценены научной общественностью – и отечественной, и польской. Не случайно ее деятельность была отмечена многими польскими наградами, в том числе одним из высших орденов Польши – “Командорский крест со звездой ордена Заслуги”.

Название книги – “*Studia Polonorossica*” отражает круг научных интересов юбиляра. В нее вошли статьи об истории польской и русской литературы, о взаимных польско-русских культурных и литературных связях, о влияниях и воздействиях, о родственности и симпатиях, о скрещении судеб литераторов России и Польши, а порой и их отталки-

вании друг от друга, хотя все это происходит в поле взаимного притяжения. Всего в книге помещено 45 статей авторов из России, Польши, Белоруссии, Украины, Германии, Грузии, Канады, Литвы. Опубликована в ней и библиография печатных трудов Е.З. Цыбенко, насчитывающая более 300 названий.

Производит впечатление широкий хронологический охват тем и проблем, в обсуждение которых авторы сборника вносят свежие краски, а порой выдвигают новые проблемы, ранее не затронутые в русистике и полонистике. Книга открывается статьей А.В. Липатова “Национальное – межнациональное – универсальное (Мир природы и мир культуры: на примере этнического пограничья Польши)”. Речь в ней идет о ранних истоках соседства и сосуществования двух культур в Средневековье и период Возрождения. Тема эта продолжена двумя статьями: “Причины кризиса культуры Московской Руси в XVI в.” Х. Ковальской (Краков) и “Литература и политика: из истории русско-польских отношений в XVII в.” В.В. Мочаловой. Уже по этим работам видно, что один из исследовательских принципов книги – скрещение разных взглядов, взаимодействующих в “пограничье” русской и польской истории, культуры и литературы.

Большой блок статей посвящен Пушкину и Мицкевичу. В теме, казалось бы, хорошо исследованной, и все же вечно живой, польские и российские авторы находят новые, порой неожиданные грани. Разумеется, поэтическое творчество Адама Мицкевича сыграло решающую роль в формировании польского романтизма, но Б. Допарт (Краков) рассматривает проблему в контексте времени, показывая наэлектризованную противостоянием и борьбой атмосферу. Один из старших современников Мицкевича, авторитетный критик Я. Снядецкий писал: “Прочь от романтизма, как от школы измены и всеобщих бедствий!” Нельзя не согласиться с исследователем: “Трудно найти более хлесткие выпады”. Тем не менее, произошло главное: в поэтической мастерской Мицкевича радикально преобразились и польский классицизм, и сентиментализм, и сам зародившийся романтизм: они стали “носителями опыта современного человека”.

Э. Касперский (Варшава) пишет о “Дискурсе свободы у Мицкевича”. Автор раскрывает особое, необыкновенно динамичное состояние души и личности поэта – именно оно порождало ту смелость творения, которая сочетала героическое с документальностью и карикатурой.

Статья “Мицкевич в Сибири” Я. Одровонж-Пененжека (Варшава) – многолетнего директора музея Мицкевича в Варшаве, коллекционера, библиофила, знатока биографии поэта – насыщена малоизвестными или совсем неизвестными нашему читателю конкретными фактами. На вопрос: “Могли ли сослать в Сибирь Мицкевича?” автор отвечает “да, безусловно” – как сослали десятки его друзей. Эта гипотетическая дорога в Сибирь соткана из множества реальных фактов: содержимого багажа поэта, писем, записок, альбомных стихов и самих альбомов, из документальных “осколков” чужой жизни (к примеру, зарисовки сибирского городка Ишим, нелегально пересланной Мицкевичу в Париж). Так подтверждается главная мысль: опальный поэт все-таки достиг Сибири – ссыльные поляки ни на минуту не пере-

ставали ощущать присутствие его произведений.

Жизненный, документальный факт как основа исследовательской гипотезы, допущения – отправная точка многих статей, построенных на том же плодотворном принципе. Д.П. Ивинский в статье “Пушкин и Каролина Собаньская: две заметки” вводит в научный оборот новые или малоизвестные материалы и документы об их отношениях. И.И. Свирида (“Федор Глинка в садах Изабеллы Любомирской”) обрисовывает неповторимое время путешествий любознательных русских офицеров – поэтов и музыкантов в далекую Европу и близкую Польшу, где их пленяло просвещенное меценатство магнатов, изысканное дворцово-парковое строительство, как время взаимно полезного культурно-информационного общения, более того, как славную эпоху совместного культурно-творческого процесса. В общую картину вписываются “Заметки о стихе русского Мицкевича” А.А. Илюшина, содержательные наблюдения Б. Бялковича (Ольштын) “Пушкин в восприятии Бодуэна де Куртенэ”. Оригинальный вклад в мицкевициану вносят германист А.А. Гугнин (Новополоцк): «Стихотворение Л. Уланда “Мицкевич” в контексте немецкой политической поэзии 1830-х годов» и В. Оцхели (Грузия): «“Конрад Валленрод” Адама Мицкевича в Грузии».

Покинув романтическую эпоху, читатель оказывается в самом центре XIX в., где находит интересные материалы, связанные с деятельностью Измаила Срезневского – литературного критика (в статье Э. Кухарской из Щецина) и Р. Сементковского – литератора, публициста, переводчика польских произведений, публиковавшихся в “Отечественных записках” Салтыкова-Щедрина с активного одобрения великого русского писателя (об этом пишет Т. Шишко из Варшавы).

Оценить без предвзятости! “варшавский позитивизм”, вместивший творчество реалистов Г. Сенкевича, Э. Ожешко, Б. Пруса (разумеется, художественно перераставших любые ограничительные рамки терминологической классификации), помогает В.А. Хорев в статье “Рус-

ские критики XIX – начала XX в. о варшавском позитивизме”. В ней показано, какими путями прогрессивные русские мыслители и публицисты открывали дорогу в Россию живому потоку реалистической польской литературы, способствовавшей преодолению стереотипа негативного отношения к Польше после восстания 1863 г.

“Варшавский позитивизм”, литературное явление сложной природы (его изучению сама проф. Е.З. Цыбенко отдала немало лет), составил целостный блок в книге. Он включает в себя исследование Ю. Бахужа (Гданьск) «Русские и Россия в “Хрониках” Болеслава Пруса», Т. Буйницкого (Краков) «Славянский восток в исторических романах Сенкевича», С. Мусиенко (Гродно) “Белорусские мотивы в творчестве Элизы Ожешко”, Ю. Булаховской (Киев) “Элиза Ожешко о литературе”, также предлагающих новый материал и нехрестоматийную его трактовку.

XX век авторы сборника открывают явлением в равной мере привлекательным для русских и польских специалистов, но до сих пор не исчерпанным в своих тайнах, загадках и подводных течениях. Речь идет об эпохе “Молодой Польши” и, в более широком понимании, эпохе модерна.

Проблемам неоромантических сюжетов и героев посвящает свое исследование Р. Радышевский (Киев). Г. Висьневский (Варшава) пишет о судьбе романа Сенкевича “Quo vadis” на русской балетной сцене 1907–1915 гг. Роману “Крик” С. Пшибышевского – признанного “короля польского модернизма” посвящает свой очерк А.И. Баранов (Вильнюс), вполне обоснованно соотнося произведение двух современников, двух соперников, двух друзей-врагов: польский роман и знаменитое полотно норвежского живописца Э. Мунка “Крик”.

М.В. Михайлова посвятила свою статью «О пьесе Анны Мар “Когда тонут корабли”: опыт гендерного анализа» творчеству ныне забытой писательницы. А ведь А. Мар была одним из первых русских авторов киносценариев, о ней много писала литературная критика 1900–1910-х годов, ей уделил внимание в

своих “Дневниках” А. Блок, ее пьесу собирался ставить в Малом театре А. Сумбатов-Южин. Не будучи полькой, Анна Мар выбирала поляк и поляков героями своих драм. Трагические конфликты ее произведений рассматриваются в статье на уровне глубинных социокультурных разногласий, которые можно определить как “диалог мужской и женской культур в русской культуре серебряного века”.

Интересен и раздел, посвященный русским писателям, эмигрировавшим в Польшу после Октябрьской революции. Множество фактов и сведений о них мы находим в статьях О.В. Розинской “Связи русской эмиграции с творческой интеллигенцией Польши (1920–1930-е годы)” и Л. Суханека (Краков) «Польская тематика в русском эмигрантском журнале “Меч”». Но было и обратное движение – Первая мировая война, Октябрьская революция и гражданская война забросили в Россию целый ряд польских писателей, о судьбах которых рассказано в содержательной статье В. Ольбрых (Варшава).

Надо ли специально оговаривать, какие сложные литературоведческие проблемы породили вторая половина XX в. и начавшийся XXI век? В круг таких сложных проблем авторы книги включают малоисследованные страницы творчества давно известных у нас поэтов и писателей – Ю. Тувима, Т. Ружевича, С. Лема, Ю. Кавальца и менее популярных З. Коссака-Щуцкой, Я. Бернарда, Л. Гомолицкого, публициста и прозаика Г. Херлинга-Грудзинского. Две статьи московских исследователей – А.Б. Базилевского “Острое воспаление речи. Поэзия Юлиана Тувима после Второй мировой войны” и Л.А. Софроновой «“Silva Regum” Юлиана Тувима» приближают к нам польского поэта как страстного искателя “нравственной интеграции картины мира”, и поэта-пародиста, автора “Паноптикума и архива культуры”, обновителя жанра фразшек и факетий.

Гротеск и его идейно-художественная функция в романе В. Гомбровича “Фердыдурке” – объект интересов С.В. Клементьева. Литературовед из Санкт-Петербурга М.П. Мальков заин-

тересовывает читателя типологическим сопоставлением произведений А. Ахматовой и польской поэтессы М. Ясножеской-Павликовской. О дневниково-биографической основе романа Е. Анджеевского “Месиво” пишет А.А. Савельева. Одну из загадок русско-польских литературных связей (существовала или не существовала драма “Слепота” Я. Корчака?) с поистине детективной тщательностью пытается разгадать О. Медведева (Ванкувер). “Ключ” к сближению польской и русской культур в трудные 1970—1980-е годы находит в произведениях невероятно популярного в Польше М. Булгакова А. Володзько-Буткевич (Варшава).

К сожалению, размеры рецензии не позволяют упомянуть все статьи, составившие корпус этой книги, имеющей несомненную научную ценность. Но нельзя хотя бы вкратце не остановиться на заключительном разделе книги, посвященном современной польской литературе. Здесь мы находим содержательную статью И.Е. Адельгейм «Краткий

курс археологии памяти”: предметный мир польской прозы 1990-х годов», очерк Г. Туркевич (Вильнюс) о “поисках золотой середины” в творчестве представительницы новой польской прозы О. Токарчук, анализ Х. Янашек-Иваничковой (Варшава) “метафизики и секса” в современной польской и русской постмодернистской прозе – в произведениях М. Гретковской (“Метафизическое кабаре”), К. Кофты (“Ничье тело”), В. Сорокина (“Тридцатая любовь Марины”). Х. Янашек-Иваничкова не скрывает своего неприятия разорванного, фрагментарного, “клипового” постмодернистского сознания, однако ее анализ проведен тщательно и объективно.

Книга, таким образом, поистине представляет собой дань уважения и благодарности коллег, друзей, учеников Елены Захаровны Цыбенко, воспитавшей в нашей стране не одно поколение полонистов.

© 2005 г. Н. Башинджагян

Славяноведение, № 5

В.Я. ТИХОМИРОВА. Польская проза о Второй мировой войне в социокультурном контексте 1989–2000. М., 2004. 210 с.

Еще каких-нибудь два десятилетия назад слово “Польша” почти автоматически вызывало в читательских и зрительских кругах мгновенные, достаточно предсказуемые ассоциации – Вайда, Анджеевский, Мунк, “Пепел и алмаз”, “Пассажирка”, “Пейзаж после битвы” и т.д. Военная тема, которая была тогда чем-то неизмеримо большим, чем просто книги и кино “про войну”, особенно прочно связывалась в сознании именно с польской литературой и кинематографом: там поднимались многие запрещенные тогда у нас проблемы нравственного выбора, смысла существования, цены жизни и смерти, а польские книги и фильмы на эту тему заставляли не только сильнее чувствовать свою связь с миром, но и давали переживаниям язык представлений и критериев.

Читателю и зрителю это было важно и потому, что война как нравственное испытание оставалась для многих еще личным опытом, задев хотя бы детство, или воспринималась так через родительский опыт. Во многом благодаря этому она, по словам поэта, и “не кончалась” во внутренней жизни живущих, и потребность осмыслить военный опыт и его последствия оказывалась одной из естественных движущих сил самого литературного процесса.

Но время идет, война неизбежно все дальше и дальше уходит в историю, а на общественной арене появляются поколения, уже никак не связанные с ней опытом личного переживания, что существенно меняет и ее место в сегодняшних сознании и памяти, и самый характер и объем знания о ней, и оптику историчес-

кого зрения, и самую потребность современного среднестатистического читателя в переживании всего этого. А именно она в качестве “спроса” опосредованно или прямо всегда влияет на ответные “предложения” литературы, в какой-то мере обуславливая ее направленность. Так что на наших глазах полувекровая инерция приоритета военной темы как бы исчерпывает самое себя.

Девяностые годы XX в. к тому же стали для стран Восточной Европы временем перелома – коренных преобразований в политике, государственной системе и пр., затронувших общество в целом и частную жизнь каждого человека. Серьезные и во многом неожиданные по своим последствиям изменения произошли и в литературном быте, и в художественном языке. Все это не могло не коснуться и военной темы, на материале которой – или через материал которой – до сих пор решались многие жизненно важные этические и психологические вопросы, закреплялись определенные и характерные для времени парадигмы мышления и те или иные исторически обусловленные его стереотипы.

И нужна немалая исследовательская самостоятельность и замечательная верность избранной теме, чтобы в условиях совершенно других интересов не просто продолжать свою работу, не просто пытаться увидеть самый процесс произошедшей “смены вех”, но разглядеть через эту смену общие закономерности, вызревающие в хаотичной повседневности сегодняшней литературной жизни.

Именно такова по отношению к самой эволюции военной темы в польской литературе книга В.Я. Тихомировой. Она стала и итогом многолетних занятий исследовательницы данной проблематикой, и результатом выработанного автором подхода, в котором научная рефлексия не убивает породившего ее чувства, а чувство не заглушает рефлексию.

В центре книги оказывается самый феномен военной темы в польской прозе девяностых годов XX в., причем новые явления, которыми отмечен этот период, рассматриваются в тесной связи с особенностями общей социокультурной ситуации. В исследованиях на совре-

менную тему такая обстоятельность встречается не так уж часто.

Попытка В.Я. Тихомировой увидеть итоги указанного десятилетия и отрефлексировать его опыт в отношении к военной теме, несколько оттесненной сейчас от центра литературного процесса, представляется достаточно актуальной не только в русле развития собственно полонистики, но и шире – с точки зрения назревшей потребности литературоведения и культурологии в изучении типологии процессов, одновременно идущих в разных литературах (культурах) Восточной Европы, необходимости соотнесения в общекультурном сознании этих явлений и их причин, что обеспечивает более широкий и продуктивный взгляд на само культурное пространство.

Слова “культурология” и “литературоведение” не случайно стоят здесь рядом, поскольку монография В.Я. Тихомировой отражает еще и объективную необходимость решения подобных тем “на стыке” наук, привлечения терминологического и методологического инструментария смежных сфер гуманитарного знания. Явление может быть описано и как имманентно развивающаяся модель, но по-настоящему осмыслено только в реальном контексте своего существования, объясняющем логику типологии составляющих его процессов.

В значительной степени именно *продуцирующему те или иные точки зрения контексту* и посвящена прежде всего монография В.Я. Тихомировой – это ее особенность и немалая ценность. Книга обозначает “основные особенности социокультурной ситуации”, сложившейся в Польше после 1989 г. – года кардинальных перемен для страны, – т.е. стремится наметить парадигмы, в которых в последнее десятилетие существовала сама военная тема.

Четкое и логичное построение работы раскрывает направленность исследовательских размышлений автора. В.Я. Тихомирова справедливо начинает с рассмотрения самого “методологического переворота” в изучении гуманитарных проблем, произошедшего на рубеже 1980–1990-х годов и давшего возмож-

ность как польским, так и российским полонистам выработать новые литературоведческие концепции (глава “Новые подходы к литературе”). Ведь тот или иной факт “на выходе” неизбежно включает в себя “стиль мышления” как описывающего его времени, так и определенной научной школы или интерпретатора. И соединение в одном проблемном пространстве многих точек зрения российских полонистов и польских ученых на одни и те же факты и проблемы дает дополнительный материал и для размышлений о сложности самого пути к истине. Ценность книги Тихомировой заключается еще и в том, что она показывает именно сложность диалога (или полилога).

В поле зрения автора монографии оказываются основные аспекты социологии польской культуры периода девяностых годов XX столетия: ликвидация цензуры и системы государственного управления культурой, новые финансовые условия деятельности издательств, что воздействует на ход литературного процесса; перемены в книгоиздательском деле; изменения читательских потребностей и вкусов, что влияет на востребованность тех или иных жанров и тем и в конечном счете порождает их модификацию; место массовой культуры в современном обществе и системе его ценностных ориентиров, ее влияние на собственно литературу и художественный язык; новая зависимость литературы от средств массовой информации, которые в значительной степени формируют ее восприятие обществом (глава “Проблемы польской культуры 1990-х годов”). Все это сделано с редкой и бесценной обстоятельностью, едва ли не дотошностью, что в работах такого рода бывает нечасто. По сути, обратившийся к книге получает сверх всего прочего огромный справочный материал по всем перечисленным выше вопросам. Пространные сноски, в которых помимо библиографических данных нередко дается разъяснение или авторский комментарий, создают как бы параллельный информационный ряд, где постепенно прорисовывается свой собственный научный “сюжет”.

Автор скрупулезно описывает и новые условия, обозначенные как “интеграция национальной литературы” (глава “Интеграционные процессы в национальной литературе”). Рассматривая ситуацию вхождения в активный оборот литературной жизни целого пласта литературы так называемого второго круга обращения, а также буквально хлынувшего потока эмигрантской литературы, и на глазах происходящего – неизбежного и порой драматического – переосмысления и переоценки ценностей, В.Я. Тихомирова показывает, как меняется в это десятилетие самосознание общества, интенсивно усваивающее новые формы и новые знания и нередко при этом попадающее в плен новых культурных aberrаций, как вырабатываются иные, чем прежде, установки и критерии, в том числе художественные, как создаются новые репутации, меняющие саму панораму литературной жизни и иерархию значимости тех или иных имен и литературных явлений в ней. Материал, который оказывается при этом в распоряжении читателя – от обобщений автора до какой-нибудь самозначимой частности, приводимой им в подстрочных комментариях (вроде данных анкетирования абитуриентов и студентов-филологов), дает пищу для собственных размышлений.

Особо останавливается В.Я. Тихомирова и на молодой польской прозе, которую, собственно говоря, правильнее сегодня уже называть не столько молодой, сколько новой, на проблеме представленного в первую очередь именно в ней польского постмодернизма, на неизбежности его появления как оперативной реакции на происходящее, а также на переосмыслении такого чисто польского феномена психологии, социологии и эстетики, как “Кресы”, который в переживаниях молодой прозы обозначился как явление нового регионализма (глава “Молодая проза”).

На этом насыщенном фоне описывается тематика прозы 1990-х годов, касающаяся войны (глава “Темы и проблематика прозы о войне”). Автор выделяет здесь литературу о “сражающейся Польше” и тему “Гулага”, которая в ус-

ловиях опыта Польши справедливо рассматривается польским литературоведением как часть военной темы (сама лагерная проблематика для Польши – это и советский Гулаг, узниками которого стали сотни тысяч поляков, и фашистские концлагеря, расположенные на польских землях, т.е. сам лагерь как таковой – зона – стал прежде всего порождением войны, сопровождением ее или – если взглянуть на историю ретроспективно – путем к ней, своего рода лабораторией уничтожения жизни). В.Я. Тихомирова касается тех сторон современной прозы о войне и ее последствиях, которые переживаются новыми поколениями иначе, чем поколениями воевавшими или жившими тогда: соотношения войны как мирового катаклизма – и национальных судеб, Холокоста как чудовищной реальности тотального истребления нации – и исторического символа пережитого опыта. Заново, по-своему, а часто и впервые открыто переживается и осмысливается этой литературой такая реальность польской жизни и истории, как потеря восточных Кресов и обживание новых, прежде чужих территорий, а значит, речь неизбежно идет о трагических судьбах польских немцев. И, наконец, возникает такая точка зрения на войну, как видение ее глазами польских эмигрантов.

Замечая, что ситуация, сложившаяся в Польше после 1989 г., изменила не только издательскую деятельность и внутрилитературную ситуацию, автор логично обращается к рассмотрению перемен в других важных сферах: науке, образовании, культуре (главы “Концепции изучения послевоенной литературы”, “Пересмотр учебных программ”).

Видение всех этих проблем глазами польских исследователей является еще одним немаловажным аспектом исследования. Автор излагает точку зрения на них польской критики и литературоведения, знакомя российского читателя с осмыслением всех этих процессов “изнутри”. А поскольку оно воспроизводится – и также подвергается рефлексии – российским полонистом, с одной стороны, погруженным в изучение тех же вопросов, с другой – обладающим некото-

рой дистанцией своего, российского опыта, такое – двойное – зрение придает особую объемность содержанию книги. Но это важно и методологически: изучение литературы и культуры “извне” всегда отличается от видения этих же процессов “изнутри”.

Замечательно, что завершает книгу не традиционное “Заключение”, а неожиданная – и совершенно необходимая в замысле и концепции автора – глава “Польская книга о войне в стране и за пределами Польши”. Необходимая потому, что напоминает хорошо известную, но постоянно забываемую истину, что лишь прочитанный текст – и, желательно, прочитанный вовремя – проживает свою естественную жизнь. Это не только эстетическая, но и важнейшая культурологическая и психологическая проблема, и замечательно, что автор ее не обошел.

Огромным достоинством монографии является ее информационная “плотность” – от приводимых автором статистических данных, большого количества таблиц, в которых суммируются те или иные сведения, до собственно библиографической насыщенности. Кажется, В.Я. Тихомировой удалось собрать практически все, написанное в Польше и у нас на исследуемую тему. Самодостаточная ценность подобного подхода бесспорна. И хотя изредка стремление автора указать все работы по названному вопросу и неизбежно возникающий при этом элемент обзорности, перечислительности в изложении начинается несколько превалировать над ожидаемой заинтересованным читателем интеграцией этих сведений в собственную концептуальную позицию автора, это никак не умаляет значения содержательности книги и правомерности способа изложения, избранного исследователем как наиболее адекватного именно его видению и его осмыслению материала.

Хочется сказать еще об одном, обычно столь несущественном для научных книг такого рода, что и не привлекает к себе внимания при чтении. Речь идет об оформлении издания и месте в нем иллюстративного материала, что в

данном случае стало значимой частью содержания монографии. Изобразительный ряд, который выстроен здесь из обложек книг, документальных фотографий, коллажей, заставки к каждой из глав – само место подобной информации именно в этом тексте – демонстрируют не только вкус и понимание смысла оформления, продемонстрированного автором оригинал-макета М.И. Леньшиной и автором книги, которому принадлежит первоначальный подбор материала, но еще и то, как существенно повышает информативность научной книги правильно и профессионально организованный видеоряд.

Монография В.Я. Тихомировой, если выйти за рамки конкретной темы, ука-

занной в заглавии, сосредоточена на проблемах социологии культуры, самой обусловленности временем ее парадигм. Понимание этого чрезвычайно важно сегодня, когда словосочетание “социология культуры”, дискредитированное опытом последних десятилетий, совершенно незаслуженно выпало из поля зрения исследователей и рабочих методологий, но, как мы видим хотя бы по этой книге, написанной с редкой заинтересованностью, возвращается к нам с методологически обогащенным инструментарием.

© 2005 г. *И.Е. Адельгейм*

Славяноведение, № 5

Прага. Русский взгляд. М., 2003. 527 с.

Прага близка русскому сердцу, особенно в последнее десятилетие, когда туда хлынули толпы наших туристов. Множество россиян сейчас ездит по всему миру, но от Праги у них впечатления какие-то особенные. Может быть потому, что она до сих пор идеально совмещает “европейскость” и “славянскость”, архитектурную музейность и живое бие-ние современности, деловитость и тихое наслаждение дарами жизни. Очарование Праги какое-то магическое, о чем писали все, в ней побывавшие, в том числе и наши соотечественники. Их впечатления и составили солидный том, подготовленный сотрудницей ВГБИЛ, знатоком чешской культурной истории Н.Л. Глазковой. Это антология, вместившая в себя тексты разных жанров. Книга получилась пестрой, но в то же время целостной: многоголосие впечатлений (представлены тексты 129 авторов) пронизано центральным мотивом, лучше всех сформулированным поэтом Н. Асеевым: “Я вспоминаю о Праге, как о прекрасном видении” (С. 280). Содержание книги шире ее названия: по сути дела перед читателем предстает чеш-

ская культура и ментальность, увиденная русским взглядом, и это понятно, ведь сама Прага, ее облик и характер неотделимы от истории и культуры Чехии, являют собой квинтэссенцию многовекового развития страны.

Антология чрезвычайно репрезентативна: в ней мы видим имена, составляющие гордость русской культуры. Приходится лишь сожалеть, что русские поздно – с конца XVIII в. – открыли для себя Прагу и ее красоты. Зато впоследствии, особенно начиная со второй половины XIX в., они полностью воздали должное одному из красивейших городов мира и его обитателям. Просвещенные россияне XVIII в. не почувствовали красоты Праги. Ее очарование открылось только оптике романтизма. Вместе с впечатлениями о городе наши соотечественники записывают пока еще смутные, путаные сведения по чешской истории. Их поражает сохранность готическо-барочного города, в котором царит “дух охранения, столь неизвестный у нас” (вел. кн. Екатерина Павловна, 1813 г., с. 31). Прагу любят одинаково и западники, и славянофилы, но особенно

профессиональные ученые-слависты (И.И. Срезневский, А.Н. Пыпин), наладившие тесные и плодотворные контакты со своими чешскими коллегами. Очень интересно читать крайне субъективные мнения великих людей. Так, И.И. Шишкин не считал Прагу живописной, не оценил чешского барокко, совсем запутался в сведениях по чешской истории, но зато едва ли не первым из русских высоко поставил творчество своих современников-живописцев Й. Манеса и Я. Чермака. М.А. Балакирев рассердился на Б. Сметану, великого композитора и дирижера, шефа оперы Национального театра, за рутинную постановку “Жизни за царя” М.И. Глинки, и его, судя по описанным им нелепостям сценического воплощения оперы, можно понять. Наш композитор далек от идеализации чехов, присущей славянофилам, но в итоге так очарован всем увиденным, что позднее пишет симфоническую картину “В Чехии”, кстати, единственное произведение в русской музыке на чешскую тему. П.И. Чайковский, напротив, в восторге от чехов как братьев-славян, высоко оценивает вкус пражской музыкально-театральной публики. Есть и курьез восприятия: Ф.М. Достоевский, запланировавший провести зиму 1869 г. в Праге, но не нашедший подходящего жилья, ничего более, занятый его поисками, в Праге не заметил. Знал бы он, как глубоко впоследствии отзовется его творчество в чешской культуре! Но и наблюдательный В. Набоков позднее мало что поймет в Праге кроме игры ночного света. Напротив, у Н.С. Лескова и Л.Н. Толстого (не бывавшего в Праге) есть новеллы на чешские сюжеты, настолько их заинтересовал чешский характер. В XX в. русские становятся более внимательными, более точными, любознательными, заинтересованными что-то узнать о стране, ее столице, культуре. Все единодушно отмечают особое радушие чехов по отношению к русским. Конечно, наши едут в Прагу по разным делам, и у них не всегда есть время ознакомиться с городом, хотя хозяева всегда настаивают на этом. Россияне особо отмечают любовь чехов к своей стране и энтузиазм, с которым они знакомят гос-

тей с Прагой, желая показать ее как можно более досконально. И эта настойчивость приносит свои плоды: И. Эренбург пишет книжку о живописце К. Пуркине (правда, не без фактических ошибок), М. Шагинян открывает даже самим чехам творчество композитора моцартовской поры Й. Мысливечека, прославившегося в Италии.

Отдельную тему составляют впечатления русских эмигрантов “первой волны”, нашедших в Праге не только пристанище от революционных бурь, но и, благодаря государственной программе, принятой по инициативе президента Т.Г. Масарика – знатока русской культуры, всестороннюю поддержку, позволившую им превратить Прагу в 1920-е годы в крупнейший центр культуры русской эмиграции. Почти все ее выдающиеся представители так или иначе связаны с Прагой. Этим объясняется обилие их текстов, приводимых в книге. Здесь на первое место по культурной значимости надо поставить К. Бальмонта, жившего во Франции, но настолько очарованного чешской поэзией, что, выучив чешский язык, он подготовил специальную книгу своих переводов крупнейших чешских поэтов под названием “Душа Чехии” (рукопись обнаружена в чешских архивах только в 1994 г. и издана в 2001 г.). Общеизвестно, сколь сильнейший след оставила Прага в сердце М. Цветаевой, сколько прекрасных строк ей посвящено. Менее известны тексты А. Аверченко, В. Ходасевича, И. Северянина, приведенные в книге. Особенно стоит выделить зоркий глаз А.Н. Бенуа, который после посещения Праги в 1935 г. по случаю открытия большой выставки русских художников, эмигрировавших в Европу, пересмотрел в корне свою негативную оценку искусства барокко, увидев именно в пражских костелах дух истинной религиозности, “слаженность в мятежности”, воплощение проблемы жизни и смерти, ту “вдохновенность”, когда “от проникающего света на душе становится легко и отрадно” (С. 199). Также он высоко оценил чешскую живопись XIV в., подчеркнув, что она обогнала развитие живописи в Западной Европе. Интересны впечатления деятелей

театра, посещавших Прагу, начиная с легендарных гастролей МХТ в 1906 г., весьма регулярно. Чехи восхищались русским театром, но не копировали его, а русские, такие, как В. Мейерхольд, Н. Сац, С. Образцов, неожиданно для себя открывали ценности чешской театральной культуры.

Читая тексты из антологии, приходишь к выводу, насколько же разным, культурно и политически детерминированным и поляризованным было восприятие русских в 1920–1930-е годы. “Левые”, приезжавшие из Советской России, не замечали исторической красоты города, его культурных традиций (кроме С. Третьякова), сосредоточившись на современности и пропаганде советской идеологии, как В. Маяковский. “Правые”, эмигранты, сплотившиеся, при всех своих внутренних ссорах, вокруг выдающегося пастыря епископа Сергия и русской церкви, наоборот, очень высоко ценили историзм Праги и традиции приютившего их народа.

В послевоенные годы Прагу в основном посещали советские деятели культуры, направлявшиеся в составе делегаций творческих работников не только для развития дружественных связей, но и для пропаганды советской идеологии. Тем отраднее читать их заметки, судя по которым Прага их настолько поразила и очаровала, что идеология как-то отходила на второй план. Для советских людей Прага была полузапретной Европой; образ жизни чехов, размеренный, в меру гедонистический, их уют и юмор по возвращении домой казались “далекой-далекой чудесной сказкой” (В.Н. Яковлев, с. 264). Особо сильное впечатление производило чешское пиво. Интересно, что в довоенных текстах русские о нем не упоминают, только с 1950-х годов они концентрируют на нем свое внимание и аппетит, оно становится для них неким символом более свободной жизни.

Значительное место в книге занимают впечатления советских писателей, очень часто направляемых в Чехословакию. Рефлексия посланцев советской культуры включает довольно широкий круг явлений. Более непосредственны высказывания тогда еще будущих творцов “неофи-

циальной” культуры (В. Аксенов, В. Некрасов, П. Вайль). В этот контекст органически вписалось стихотворение И. Бродского “Витезслав Незвал” (1961). Поэт, не видевший Прагу, оказался способен передать ее образность посредством другого поэта, чешского, в стихах которого Прага приобрела черты опотизированного урбанизма.

Хорошо, что в книге много текстов, посвященных Пражской весне и событиям августа 1968 г. Оказывается, что бурление чешского общества в поисках “социализма с человеческим лицом” сильно привлекало советскую интеллигенцию, буквально наводнившую Прагу 1968 г. Наиболее интересны воспоминания С. Юрского, актера и литератора, очевидца августовских событий. Из текстов более позднего времени выделяется фрагмент из книги П. Вайля “Гений места”, в котором автор, как мне представляется, дал лучшее из всех описание современной Праги. П. Вайль наделен каким-то особым талантом постигать духовно-культурную сущность пространства, его оптика совмещает культурологический подход и непосредственность свежих наблюдений. Его суждения метки, умны, эрудированны, хотя не со всеми из них можно согласиться.

Заканчивается антология текстами, написанными в наши дни и показывающими неослабевающий интерес русских к Праге, уже включившейся в процесс глобализации культурного пространства со всеми его плюсами и минусами. В целом подборка текстов дает возможность проследить, как на протяжении трех веков меняется не только образ Праги и чехов в глазах русских, но и как меняются сами русские, приоритеты их восприятия, их подход к увиденному. Тем самым антология блестяще выполнила двойную задачу – показать видение другого и дать эволюцию самой воспринимающей стороны.

Книге предпослано предисловие, написанное крупнейшим знатоком чешской литературы С.В. Никольским, в котором дан краткий очерк истории и культуры Чехии, в основном XIX–XX вв., т.е. времени, к которому относятся тексты антологии. С.В. Никольский на первый план в

культуре выдвигает литературу, что вполне понятно, хотя можно было бы побольше сконцентрироваться на роли самой Праги в чешской культуре. Очерк информативен и точен. Отмечу лишь одно обстоятельство: сейчас трудно согласиться с оценкой чешского барокко и Контрреформации как периода упадка языка и письменности, ведь именно в это время складывается тот облик Праги, ее барочная архитектура и скульптура, которые главным образом и пленяют взоры и души путешественников.

Что касается структуры книги, то можно отметить отсутствие подписей под иллюстрациями, излишним кажется в издании такого рода особое выделение в именном указателе архитекторов, скульпторов и художников, внесших вклад в сложение облика города. Не всегда логично построено чередование авторов, писавших о Праге. Составитель придерживался хронологии посещений, хотя некоторые бывали неоднократно, а эмигранты вообще жили в Праге по многу лет. В итоге К. Бальмонт и И. Бунин оказались после М. Цветаевой и И. Ильфа, а С. Образцов раньше В.с. Мейерхольда. Тексты эмигрантов-пражан даны вперемешку с текстами советских деятелей культуры.

Комментарии, занимающие треть книги, заслуживают самой высокой оценки. По сути это оригинальное историко-этнографическое исследование, отдельные же комментарии смотрятся как самостоятельные научные работы (например Н.В. Гоголь в Чехии). Комментирование доводится до мельчайших деталей, вплоть до современных адресов упоминаемых зданий и учреждений, что прямо-таки провоцирует читателя взглянуть на эти места своими глазами при следующем посещении

Праги. Подробно комментируются авторы, писавшие о Праге, их посещения Чехии, культурные связи русских и чехов. Иногда такие материалы значительно дополняют и расширяют основную часть книги. Н.Л. Глазкова предприняла действительно титаническую работу по выявлению русских текстов, посвященных Праге, по их комментированию. Особо надо отметить научный объективизм при отборе текстов: даны представители всех направлений, течений в русской культуре. Чувствуется, насколько глубоко составитель влюблен в объект своего исследования, что не мешает, однако, предельной объективности в подаче материала. Поэтому не хочется указывать на мелкие неточности комментатора, тем более, что их мало. Отмечу лишь, что Богемия – это латинское, затем и немецкое название Чехии, данное по племени боев, живших на ее территории до прихода славянского населения, а не то, что написано в комментарии (С. 337). Можно было точнее и полнее сказать о Й. Юнгмане (С. 348), Й. Манесе (С. 371), В. Шпале (С. 452), указать на легендарность св. Яна Непомуцкого (С. 347).

В итоге читатель получил, причем впервые, репрезентативный корпус текстов с высоконаучным комментарием, показывающий, до чего же русские люди любили и любят “мать чешских городов”, “златоглавую” и “стобашенную” Прагу, как они ее чувствуют и понимают, и как сама Прага – символ центральной европейской культуры – принимает их в свои объятия, погружая в ту культурно-психологическую атмосферу, которую не найдешь больше нигде.

© 2005 г. Г.П. Мельников

Славяноведение, № 5

Чешское искусство и литература. XX век. СПб, 2003. 368 с.

Сборник статей, изданный Государственным институтом искусствознания (Москва), посвящен преимущественно

чешской культуре первой половины XX в. – тому периоду, когда чешское искусство и литература достигли, как это

теперь совершенно очевидно, вершины своего развития. Встав вровень с европейской художественной культурой чешская культура во многих своих проявлениях оказывает на нее влияние, а ее отдельные феномены становятся неотъемлемой частью высших достижений мировой культуры. Это обстоятельство уже осознается самим современным чешским обществом и признается за рубежом. Это подтверждает не только продолжающийся “бум” постановок опер Л. Яначека на Западе, но и свежий пример: организаторы выставки мирового кубизма в Центре Помпиду в Париже в 2003 г. хотели поместить на ее афишу и билеты репродукцию картины Ф. Купки как символ этого влиятельнейшего течения XX ст. В российском же обществе по инерции продолжает существовать явная недооценка чешской культуры XX в., сложившаяся еще в социалистический период, когда, за исключением прозы Я. Гашека и К. Чапека, другие ее высшие феномены недооценивались или попросту были неизвестны в силу официальной доктрины социалистического реализма, отрицавшей и шельмовавшей модернизм, а именно с ним связаны лучшие достижения чешской культуры современности. Можно сказать, что период “открытия” этих ценностей, начатый в конце XX в. как в самой стране, так и за ее рубежами, продолжается. Поэтому публикация рецензируемой книги представляется очень актуальной и своевременной, в чем несомненная заслуга ее ответственного редактора И.В. Поповой.

Сборник объединил статьи московских авторов из Института искусствознания, Института славяноведения РАН и Российской Академии художеств, а также чешских исследователей. Последнее обстоятельство особенно отраднo, поскольку дает нашему читателю возможность ознакомиться с аутентичной точкой зрения чешских искусствоведов. В море переводной литературы по искусству, затопившей наш книжный рынок в последние годы, к сожалению, отсутствуют работы авторов из бывших соцстран, что, безусловно, углубляет диспропорцию в познании мировой культуры. Работы отечественных исследователей

пытаются ее выправить. Это прежде всего относится к коллективным трудам историков литературы из Института славяноведения РАН [1], книг С.В. Никольского [2], Л.П. Солнцевой [3], статьям Е.К. Виноградовой [4]. Рецензируемая книга продолжает эту традицию. Ее задача – прежде всего культуртрегерская: ознакомить отечественного интеллигента с чешской культурой того периода, который ныне называется классикой XX в., показать богатство и разносторонность чешского модернизма, его историческое значение. Но этим содержание книги не исчерпывается: в ней дается анализ специфики чешского модернистического культурного дискурса, обстоятельно исследуются многие феномены, представляющие собой вершины чешской культуры.

С литературоведческих позиций на них оглядывается патриарх отечественной богемистики С. Никольский в небольшом итоговом эссе, которое так и называется – “Оглядываясь на вершины чешской литературы XX века”. Ими оказываются Я. Гашек, К. Чапек, В. Ванчура, В. Незвал, Б. Грбал, что бесспорно. Более того, автор справедливо подчеркивает, что “в нашем столетии чешская литература обрела всемирное звучание и вошла в число самых развитых литератур мира..., а высокая степень ее персонифицированности может служить показателем зрелости” (С. 9–10). Другой видный историк чешской литературы Л. Будагова, продолжая свои многолетние исследования поэтизма, анализирует его связь с новым искусством кино, открывая скрытый параллелизм и кинематографичность поэтического мышления поэтов-поэтистов, которые недаром увидели в новом виде искусства нечто родственное и стали интенсивно с ним сотрудничать. Статья Л. Будаговой “Содружество муз” ставит и более широкую проблему нахождения парадигмы чешской культуры XX в., определения ее наиболее характерных черт.

Блок статей об искусстве очень разнообразен: он охватывает все его виды от архитектуры до фотографии. Е. Виноградова в большой работе рассматривает творчество ведущих художников

группы “Упрямые” Й. Чапека, В. Шпалы, Я. Зрзавого. Это глубокая, фундаментальная “мини-монография” дает достаточно полное представление об истории и специфике чешского кубизма, борьбе мнений вокруг и внутри него, ярко индивидуальном творчестве указанных мастеров, принадлежащих к элите мировой модернистской живописи, но у нас недостаточно известных. Е. Виноградова, давно изучающая и пропагандирующая творчество Й. Чапека [5], вскрывает его глубинную связь с традицией, видя в этом характерную черту чешского модернизма. Открытый тип присущ и творчеству В. Шпалы, в котором сосуществуют несколько направлений (С. 76), причем даже радикальнейшие из них не порывают связи с предметностью. Говоря об уникальности суггестии Я. Зрзавого, автор показывает, как его уникальный спиритуализм стал истоком магического реализма и ищет путей сближения его творчества с поэтизмом (С. 95). Искусствоведческие биографические очерки об этих великих художниках очень нужны отечественному зрителю, почти не имеющему возможности увидеть их работ в подлинниках и прочесть о них на русском языке. Как показывает мой личный опыт, в особенности при работе со студентами, “открытие” этих имен производит сильнейшее впечатление, часто меняющее общую оценку чешского искусства. К сожалению, в статье осталось неучтенным фундаментальное исследование последних лет о чешском кубизме, принадлежащее В. Лагоде [6]. В пандан статье Е. Виноградовой дан сделанный ею перевод статьи известного чешского исследователя Ф. Шмейкала “Футуризм и чешское искусство”. Работа ценная и интересная, оперирующая большим фактическим материалом, зачастую почти неизвестным. Автор показывает ранее не предполагавшуюся существенную связь чешского авангарда с итальянским футуризмом, восстанавливает значение пионерских работ Ружены Затковой для становления многих форм современного искусства, в том числе кинетизма. Однако удивляет исходная посылка автора о том, что чешский “изоляционистский

подход породил преисполненное самознания поверье о чрезвычайно высоком европейском уровне современного чешского искусства” (С. 96–97). Он намерен показать, что “чешское искусство не занимает в развитии европейского искусства столь исключительное место, как нам представлялось до сих пор”, хотя оно более, чем казалось ранее, было связано с европейскими течениями (С. 97). Такой нигилизм исследователя, обрекающий чешское искусство на провинциальность и не стремящийся изменить его оценку в Европе, в корне противоречит не только последним мировым тенденциям (триумф выставки чешского кубизма, проведенной по почти всем культурным столицам мира, до чего автор, умерший в 1988 г., не дожидаясь “бума” искусства А. Мухи, которое стало объектом множества публикаций на Западе, хотя к теме Ф. Шмейкала он не имеет отношения), но, и это самое главное, не соответствует, опровергается материалом этой статьи и других работ самого Ф. Шмейкала, а также многими материалами данного сборника. Вводит чешское искусство в общеевропейских контекст еще не означает отрицать его “самобытность”, акцентировавшуюся ранее в чешском искусствознании, чего не понял чешский ученый, чьи заслуги в деле адекватной оценки чешского авангарда, безусловно, очень велики.

Об огромном влиянии эстетики модернизма, левого искусства на все сферы художественной деятельности свидетельствуют материалы, приводимые в очень информативной статье Л. Казаковой “Декоративно-прикладное искусство 1900–1920-х гг.”. В ней прослеживается изменение стилей от сецессии через кубизм к арт-деко, особо акцентируются поиски “национального стиля” и то глубокое влияние, которое произвел кубизм. Чешское кубистическое прикладное искусство – явление уникальное в мировой художественной культуре, поэтому его всестороннее рассмотрение в статье представляется ее главной ценностью. В работе есть несколько мелких неточностей и спорных оценок, данных как бы походя. Надо было указать (С. 151), что Л. Шалун и Ф. Билек – крупнейшие скульпп-

торы сецессии, лишь эпизодически обращавшиеся к декоративно-прикладному искусству. Общественный дом в Праге после недавней реставрации признан шедевром сецессии и высшим проявлением синтеза искусств в чешском искусстве [7], а утверждение, что он “представлял собой образец эклектизма и консервативности мышления” (С. 154) относится к той стадии консервативности мышления, уже преодоленной мировым искусством, которая не принимала специфики сецессии. Нельзя согласиться и с утверждением о том, что в чешском художественном ремесле “имело место механическое соединение элементов кубизма с народными мотивами и цветом” (С. 164). Наоборот, это соединение было глубоко органичным, как показывают работы кубистов, разрабатывавших формы для народной игрушки в 1920-х годах. В них формальное мышление профессионалов-авангардистов идеально совпало с функциональностью, чувством геометричности токарной формы, ярким цветовым ощущением, присущими народному творчеству. Об органичности синтеза кубизма и фольклорности хорошо сказано, на примере творчества В. Шпалы, в статье Е. Виноградовой из этого же сборника.

А. Стригалёв анализирует такое специфическое явление в мировой архитектуре как чешский “архитектурный кубизм” и “рондокубизм”. Кстати, последний – одну из стадий и разновидностей первого – лучше, в соответствии с чешской терминологией, называть “дугообразным кубизмом”. Архитектурный анализ глубоко увязан с общекультурным контекстом. Автор справедливо считает чешский архитектурный кубизм самоценным и в высшей степени интересным явлением, показывает его генезис из сецессии, связь с ордерным мышлением. Он отстаивает концепцию, согласно которой кубизм в архитектуре завершает классическую фазу ее развития, поскольку переход к следующей фазе – функционализму-конструктивизму имел “характер разрыва” (С. 189), с чем трудно не согласиться. Наоборот, трудно согласиться с тем, что “наиболее разносторонним и плодотворным из практиков архитектурно-

го кубизма” А. Стригалёв считает П. Янака (С. 189), а не Й. Гочара, к которому это определение относится в гораздо большей степени. Удивляет, что, говоря о Й. Гочаре, автор не упоминает одну из главных его построек – костел св. Вацлава в Праге, здание, открывшее новые горизонты для сакральной архитектуры. Можно высказать и другие замечания, попутно указав на фактические ошибки, проникшие в статью. Так, автор не знаком с упоминавшимся новейшим капитальным трудом В. Лагоды о чешском кубизме, повторяет ошибочное клише о “восоединении” в 1918 г. Чехии и Словакии (С. 188), до того никогда не представлявших собой единого государства, почему-то неправильно называет всем известный, знаменитый Владиславский зал на Пражском Граде “Владиславльским” (С. 179), объявляет чехами по рождению словенца Й. Плечника, родившегося в Любляне, и немца А. Лооса. Кстати, применительно к ним нельзя утверждать, что они “только эпизодически работали в Праге” (С. 175–176), для этого достаточно посмотреть их биографии в любом соответствующем справочнике. Этих ошибок можно было бы избежать при тщательном редактировании книги.

Чрезвычайно ценной является публикация работ по истории чешского фотоискусства, написанных неутомимыми чешскими исследователями фотографии В. Биргусом и А. Дуфеком. Они дают как бы малую историю чешского фото первой половины XX в., возмещая тем самым отсутствие его “большой истории”. Благодаря их работе становится ясной высокая эстетическая ценность чешского фотоавангарда, в чем москвичи смогли убедиться на недавней выставке Ф. Дртикола [8], по праву занявшего центральное место в работе В. Биргуса и А. Дуфека. Авторы дают очерк истории, раскрывают специфику чешского фото, обращают внимание на инновации мирового значения, сопоставляют его с современным изобразительным искусством, выявляя их общую эстетическую природу, коренящуюся в авангардном дискурсе. Особо интересен очерк о сюрреалистической фотографии. В ре-

зультате становится понятным, почему фото в чешской культуре заняло такое видное место. Попутно отмечу ошибки в переводе некоторых имен: знаменитые венгерские авангардисты переводятся как Мохой-Надь и Кашшак, голландец – ван Дуйсбург, а не так, как это сделано в тексте.

Г. Коваленко открывает нам ценности чешской живописной сценографии 1920–1930-х годов. Для нас привычно связывать расцвет чешской сценографии с конструктивным технологизированным стилем Й. Свободы, много работавшего в советских театрах 1960–1980-х годов. Здесь перед нами другой, более ранний феномен – сюрреалистическая декорация художника Ф. Музики, дополненный очерками о сценографии Я. Зрзавого, Я. Сладека и раннего Ф. Трестера. Вдумчивый анализ позволяет понять значимость этого вида сценографии, содействовавшей расширению влияния сюрреализма, ставшего в 1930-е годы ведущим направлением в чешской культуре.

Монографический очерк Л. Солнцевой – лучшего отечественного знатока чешского театра – о Э.Ф. Буриане раскрывает со всей полнотой многогранное творчество этой для XX в. уникально разносторонней личности. Композитор, режиссер, актер, певец, литератор, он создал тип синтетического театра, объединяющего все виды искусств. Очень ценны описания спектаклей Буриана, показывающие, что, благодаря недолговечности театрального спектакля, многие гениальные находки и даже принципиально инновационные решения забываются, современному авангардному течению в мировом театре часто приходится “изобретать велосипед”, не зная о работах своих предшественников. Автор убедительно доказывает на примере Буриана принципиальную совместимость авангардизма и традиции, если под последней понимать не консервативно застылую эталонность, а основы, может быть, праосновы художественного творчества.

В. Егорова на материале чешской музыки социалистического периода утверждает ту же идею. Широкий охват

имен и произведений, их вдумчивый музыкальный анализ показывает отмеченное двойственное понимание традиции. Солидаризируясь с автором в позитивной оценке творческой ретроспективной реинтерпретации прошлого в музыке П. Эбена и других композиторов, позволяю себе усомниться в наличии художественных ценностей в национально-консервативной музыке В. Добиаша 1950-х годов с ее коммунистическим ангажированным содержанием и примитивностью трактовки сметановского наследия. “Этюды об этюдах” – так В. Ерохин определил жанр своей статьи “В джазовом ключе” о сочинениях чешских авторов, написанных под воздействием джаза. Текст В. Ерохина резко отличается от работ других авторов сборника. Это скорее комментарий к звучащей музыке, более уместный в устной форме, чем в письменной. Обилие нотных примеров и специфических терминов делает его мало понятным для непосвященного, а специалист-джазмен вряд ли заглянет в книгу о чешском искусстве, поэтому остается непонятен адресат статьи. Нонсенсом выглядит даваемый автором статьи перевод композиторских комментариев кроме русского (что полезно), еще и на английский язык, и это в книге, предназначенной только для отечественного читателя! Сам стиль изложения принципиально эклектичен: его диапазон включает аннотацию, легкий разговор о предмете, сугубый музанализ и наставления пианисту, как надо играть эти ноты, что, в отсутствии в руках у читателей полного нотного текста анализируемых сочинений превращается в полную бессмыслицу. Вместо очерка о Э. Шульгофе – корифее “композиторского джаза” 1920-х годов, авангардисте, разъезжавшем по миру как концертирующий пианист и пропагандист “новой музыки”, советском подданном, написавшем кантату на текст Коммунистического манифеста Маркса и Энгельса в четвертитоновой системе, жертве фашистского антисемитизма, лишь после войны зачисленного в чешские композиторы (всех этих сведений у В. Ерохина нет) – невнятно дается информация о двух его сочинениях и общеизвестное разъяснение о том,

что такое “hot music”. Вместо текста, непонятно зачем и для кого созданного, хотелось бы в данном сборнике видеть очерк чешской джазовой культуры – столь заметного феномена в Праге 1920-х и 1960-х годов, написанный тем же автором – крупным знатоком джаза.

В изданиях по искусству должно быть много иллюстраций, иначе они “немые”. Редактор сборника, очевидно, сделал максимум возможного, снабдив книгу неальбомного типа достаточно большим числом иллюстраций, но этого все же недостаточно для адекватного понимания текста, говорящего о произведениях, которые обычный любитель искусства может увидеть только в альбомах, каталогах и монографиях (сейчас эти жанры удачно совмещаются), изданных в Чехословакии и Чешской Республике. На этом фоне кажутся избыточными многочисленными нотные примеры. Перевод статей чешских авторов выполнен адекватно, хотя встречаются неточности, стилистические огрехи и другие шероховатости, которые можно было бы устранить на стадии редактирования. К сожалению, довольно часто встречаются опечатки. В целом же книга несомненно удалась. Заострив внимание на некоторых феноменах, относя-

щихся к вершинам чешской культуры, она пробуждает интерес к познанию всего огромного материка культуры маленькой Чехии.

© 2005 г. Г.П. Мельников

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. История литератур западных и южных славян. М., 2001. Т. 3; История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны. М., 1995–2001. Т. 1–2.
2. *Никольский С.В.* Две эпохи чешской литературы. М., 1981; *Никольский С.В.* История образа Швейка. М., 1997.
3. *Солнцева Л.П.* Театр в духовной жизни чехов и словаков. М., 1995.
4. *Виноградова Е.К.* Судьбы чешского кубизма // От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996; *Виноградова Е.К.* Чешский кубозкспрессионизм и искусство XIX века // Европейское искусство XIX–XX веков: исторические взаимосвязи. М., 1998.
5. *Виноградова Е.К.* Йозеф Чапек. М., 1981.
6. *Lahoda V.* Český kubismus. Praha, 1996.
7. *Obecní dům v Praze. Historie a rekonstrukce.* Praha, 1997.
8. Франтишек Дртикол. Фотографии 1918–1935 годов. М., 2003.



Конференция “Государство и его институты на Балканах в конце XIX – первой половине XX в.”

После выхода в свет в 2002 г. сборника статей “Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX века”, в котором авторы стремились на междисциплинарной основе рассмотреть вопросы мироощущения и ментальности балканских народов, тема “Человек на Балканах” (*Homo balkanicus*), его социальных и психологических особенностей в различных исторических условиях, была положена в основу систематической разработки в Отделе истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН.

В 2003 г. РГНФ поддержал исследовательский проект “Балканские народы и процесс модернизации (вторая половина XIX–XX в.)”, рассчитанный на три года. В том же году Отделом была организована первая конференция под названием “Славянские народы в конце XIX – первой половине XX в.: специфика модернизационных процессов в традиционных обществах” (см. “Славяноведение”. 2004. № 3). Внимание ученых было сосредоточено на анализе внутренних и внешних импульсов к запуску модернизационных процессов в “новых” балканских государствах, освободившихся от турецкого гнета (в 1829 г. независимость получила Греция, в 1878 г. – Сербия, Румыния, Черногория, в 1908 г. – Болгария, в 1914 г. – Албания). Рассматривались также вопросы о степени готовности общества традиционного типа к вступлению на путь модернизации, фак-

торы использования балканской элитой моделей западноевропейских политических институтов и доктрин, формирование “балканского парламентаризма”, использование при строительстве балканских государств идеи нации и националистической идеологии.

Часть материалов первой конференции, дополненных и тщательно проработанных авторами, составили сборник статей “Человек на Балканах и процессы модернизации. Синдром отягощенной наследственности. Последняя треть XIX – первая половина XX вв.” (СПб., 2004), явившийся своеобразным итогом этого этапа изучения проблемы.

Следующим шагом в рамках проекта стала конференция, проведенная 7–8 декабря 2004 г. по теме: “Государство и его институты на Балканах в конце XIX – первой половине XX вв.”

В связи с растущим среди коллег интересом к проблематике и для более полного ее изучения за счет расширения круга балканских стран, в том числе с точки зрения увеличения возможностей для сравнительного анализа хода модернизационных процессов в государствах региона, к участию в конференции, помимо непосредственных исполнителей проекта, были приглашены специалисты по разным балканским странам из других Отделов Института славяноведения РАН, а также из Института этнологии и антропологии РАН, МГУ, МГИМО, Самарского госпединститута, Нижегородского и Сыктывкарского госуниверсите-

тов. В итоге “охваченными” оказалось большинство стран Балканского полуострова. Всего в конференции приняли участие 19 человек.

К обсуждению были предложены следующие вопросы: монархический институт, особенности его функционирования, восприятие монархического института и личности монарха в обществе; партийно-политические системы, социальный состав партий, программы и идеология, характерные черты партийной элиты; армия, ее роль в периоды, когда милитаризация общественного сознания становится преобладающей; избирательные системы, характеристика составов парламентов, их роли как ветви власти; судебные системы, отношение населения к законности и обычному праву; внеконституционные и внесудебные факторы, источники чрезмерной политизации (радикализации) общества; проблемы формирования гражданского общества или его элементов.

Конечно, не все поставленные вопросы удалось осветить в полной мере. Главное – представленные доклады и их обсуждение, проходившее в горячей творческой атмосфере, показали, как много накопилось невыясненных вопросов, мимо которых проходила прежняя идеологизированная историография с ее “уплощенными” представлениями. Это относится как к российской историографии, нередко предвзято рисовавшей, например, характер “национально-освободительной борьбы” балканских народов как традиционно революционный, или в ряде случаев однозначно позитивно толковавшей роль в этом регионе царской России и тому подобное, так и к современной местной (балканской) историографии, которая усиленно эксплуатирует ныне актуальный политический лозунг “Войти в Европу!” как завещанный предками.

Первый блок вопросов, вызвавший оживленную дискуссию в ходе конференции, оказался связанным с темой “Общество и государство”. В.И. Косик (ИСл РАН), реагируя, как представляется, именно на некоторые свойственные прежней историографии подходы и стремясь освободиться от навязывавшегося

ей осовременивания образа балканских стран в XIX в. как государств “классовых”, “буржуазных”, прибег к сокрушающей прямой линии: “А что за государства были на Балканах в это время, – заявил он. – Что Сербию, можно считать государством? Или Болгарию? Или в Албании были начатки государственности?” Тем самым он фактически вернул обсуждение к главной теме предыдущей конференции, которая в свое время достаточно обоснованно констатировала низкую степень готовности общества традиционного типа, господствовавшего на Балканах еще и в XIX в., к вступлению на путь модернизации, к строительству государств по западноевропейской модели.

По мнению В.И. Косика, для конца 1870-х и 1880-х годов применительно, например, к болгарским условиям можно говорить лишь об отсталом аграрном населении, но наличие там общества как такового – большой вопрос; недалеко от этого состояния ушло и население Сербии, хотя оно вступило на путь освобождения из-под власти Османов на полвека раньше (А.Л. Шемякин: “Но как-то незаметно растеряло преимущество”).

Остается лишний раз задуматься о действительной судьбоносности положений Берлинского трактата 1878 г., в том числе как ориентировавшего вновь образуемые на Балканах государства на устройство жизни в них “в смысле европейского строя” (так записано в трактате) и предписывавшего установление конституционных монархий и парламентаризма. Ведь Россия, подписавшая этот международный акт в лице своих представителей, к тому же игравшая, что подчеркивает Т.Ф. Маковецкая (ИСл РАН), инициативную роль в выработке его содержания, сама будучи в большой степени аграрным (хотя и куда более сильным) государством, так и не рискнула тогда встать на путь политической модернизации. Ее опыт спустя время – в начале XX в. – в политической и социальной сферах, включая реформы П.А. Столыпина в аграрном секторе, свидетельствовал о чрезвычайных трудностях реформаторов, в том числе в деле

учета природной ментальности населения.

Возражая В.И. Косику: “Раз имеются все государственные институты, есть и государство!”, Л.В. Кузьмичева (МГУ) фиксировала внимание участников конференции на компаративности общеевропейского процесса и на большой социальной мобильности определенного слоя балканского населения, главным образом, получившего заграничное (европейское или российское) образование. С этими доводами нельзя не согласиться, правда, если отвлечься от обстоятельства, что слой грамотных и образованных людей был очень узок, не превышал в каждой балканской стране нескольких сотен человек, и их воздействие на превращение 80%-ной крестьянской массы в гражданское общество не могло быть сильным. Другой интересный момент в докладе Л.В. Кузьмичевой – указание на значение *географического фактора* в развитии антиосманской освободительной борьбы: близость или удаленность славянских территорий от центров турецкой власти влияла, по ее мнению, как на размах борьбы населения, ее боевитость (у сербов), так и на ее формы и характер (у болгар, главным образом, через завоевание Церковной автономии). Важное значение Л.В. Кузьмичева придает также фактору генерирования идей освобождения от султанского ига и “собираания народа воедино” благодаря заграничным (эмигрантским) диаспорам, т.е. извне, откуда эти идеи, замечает она, трансплантировались затем на местную почву (как в случае с сербами, жившими в Австрии, или с болгарской элитой, сложившейся в Румынии, а также на юге России). Нет сомнения, что такой географический фактор одновременно оказывается и идейным (идеологическим).

На роль географического фактора в организации жизни балканского населения указывали и другие участники конференции. В частности, этому посвятила значительную часть своего доклада об особенностях развития албанского общества Ю.В. Иванова (Институт этнологии и антропологии РАН).

Следующий блок докладов на конференции – “Модернизационные процессы

и политические системы в балканских странах” – позволил выявить любопытную балканскую специфику. Как показали в своих выступлениях М.В. Белов (Нижегородский госуниверситет), говоривший о начальных этапах освободительной борьбы сербов против Османов, и М.Л. Ямбаев (ИСл РАН) на македонском материале применительно к более позднему времени, эта особенность выразилась в функционировании нелегитимных органов административной власти повстанцев, четников, “организационных комитетов” и тому подобное, действовавших во внутренних территориях Османской империи. Такая власть, подчеркнул М.В. Белов, “не была подкреплена материально, правосознанием, демократической процедурой”, основным методом управления на сербских землях оставалась соборность. Более жестким образом подобная административная нелегитимность проявилась, по утверждению М.Л. Ямбаева, на македонских землях в конце XIX – начале XX в.

Тем не менее толчок к институционализации власти был дан, и в 1830–1840-е годы она приобрела более определенные формы. А.Л. Шемякин (ИСл РАН), анализируя возникновение с созданием парламента “совершенно новой для балканских стран институции – политических партий”, отметил их глубокое отличие от западноевропейских партий. Многопартийность в Сербии, считает он, являлась номинальной, поскольку “высочайшая степень гомогенности сербского народа, почти 90% крестьян примерно равного имущественного состояния, давала мало простора для деятельности партий в европейском понимании, которые по определению должны были представлять отдельные группы и классы”. Другая специфическая особенность балканской политической жизни, по мнению А.Л. Шемякина, – медленное приобретение ее носителями навыков политической культуры, ограниченность используемого инструментария и методов действия, “тупая” бескомпромиссность, нередко приводившая к кровавым эксцессам.

Партийная система с началом XX в. и особенно после Первой мировой войны, несомненно, усложнилась во всех бал-

канских странах, в том числе за счет появления социал-демократических и рабочих партий. Но кардинального улучшения ее свойств не произошло. По-прежнему основную массу электората составляло крестьянство, различие между партиями определялось не социальными и политическими программами, а идеологическими лозунгами. С образованием в 1918 г., согласно мирным решениям великих держав, Королевства сербов, хорватов, словенцев положение на Балканах усложнилось. Межнациональный антагонизм и разнонаправленность устремлений народов, объединенных в рамках одного государства приобрели, как отметил в своем докладе *А.А. Силкин* (ИСл РАН), непреодолимый характер; порождаемая этими обстоятельствами бесперспективность обессиливала поиски умеренными деятелями компромиссных вариантов, закрепляла конфронтационность в общественной жизни в качестве главного политического метода. Как писал современник в 1908 г.: «Пережить и переварить за короткий срок наша патриархальная среда не могла то, что на Западе формировалось веками».

Отдельный блок составили доклады, авторы которых затрагивали многокомпонентную проблему «Конституция—монархия—офицерство», характеризовавшуюся прежде всего сложностью отношений между этими факторами. За исключением Сербии, где укрепилась местная династия, во всех остальных балканских странах на престоле оказались представители иностранных правящих домов. Вопрос: что выше в государственной иерархии — монархический институт или Конституция был предметом долговременной борьбы политических сил. *Т.Ф. Маковецкая*, *А.А. Силкин*, каждый по-своему отмечали, что монархи-князья, стремившиеся к абсолютной власти, хотели либо вообще отменить конституцию, либо на время прекратить ее действие. Другие участники конференции указывали, что положение князей не было устойчивым не только потому, что любой из них являлся объектом игры международных сил, но и потому, что сам институт монархии плохо прира-

стал к балканской почве (тема, по общему признанию, требует дополнительного изучения). Так, по мнению *Т.В. Покувайловой* (ИСл РАН), монархический институт был привнесен в Румынию искусственно, хотя в итоге просуществовал 82 года. Для Болгарии, наоборот, *Т.Ф. Маковецкая* считает учреждение института монархии в 1879 г. естественным и соответствовавшим исторической памяти народа. Вместе с тем *Р.П. Гришина* (ИСл РАН) фиксировала отмеченное в литературе недоумение части болгарского общества по поводу установления монархической формы правления и ее неготовность принять новый институт, новые нормы и требования. *Р.П. Гришина* считает, что монархия в Болгарии за 63 года существования более или менее полностью выполняла свою функцию государственного стержня лишь однажды в 1935 г. В остальное время важнейший государственный институт находился в перманентном кризисе. Не лучше обстояло дело и в доморощенных сербских династиях: *Я.В. Вишняков* (МГИМО) называет их просто суррогатными, *А.Л. Шемякин* подчеркивает варварские, кровавые методы смены княжеской власти, калейдоскоп властителей на деревянном троне.

Офицерство — третий компонент триады «Конституция—монархия—офицерство» по степени влияния на фактическую жизнь новых государств играл едва ли не главную роль. Действительно, поскольку освобождение из-под османского ига повсеместно на Балканах было сопряжено с восстаниями и другими видами вооруженного сопротивления славянского, греческого или албанского населения (хотя и разной степени интенсивности), действия повстанцев, а также бродячих гайдуцких отрядов (нередко просто разбойничьих), сколачивание разного рода военных заговоров и «организационных комитетов» выделяло *Ното militans* среди населения как защитника и активного деятеля, пользующегося уважением. В докладах *В.С. Винокурова* (МГУ) и *Я.В. Вишнякова*, посвященных феномену политически активного офицерства, указывалось, что во вновь образовывавшихся балканских государствах еще до

того как в них устанавливался сколь-нибудь прочно конституционный порядок, военные быстро превращались в элитное идеологизированное военное сословие, мнящее себя гарантом национального суверенитета и независимости страны. Более того, офицерство, получавшее образование, как правило, за границей, быстрее осваивало новое для себя дело – политграмоту и, приспосабливаясь к публичной политической деятельности, стремилось участвовать в управлении государством, имея в виду прежде всего активную внешнеполитическую доктрину. Именно армия и офицерство становились главными носителями идеи полного объединения своего народа и экспансионистских доктрин “Великой Греции”, “Великой Сербии”, “Великой Болгарии”; сюда, вероятно, можно отнести и идею “Объединенной Словении”, сформулированную, как отметила *И.В. Чуркина* (ИСл РАН), в период пребывания этого одномиллионного народа в составе Австрии. (Безоговорочный упор на великодержавные идеи стали, на мой взгляд, в какой-то степени своеобразным историографическим штампом и стоит еще подумать, сколько в них было иллюзорного и сколько реального, и насколько такие идеи захватывали низшую, крестьянскую часть населения, далеко еще не готовую тогда идентифицировать себя в определенной этничности). Кроме чисто военной стороны великодержавных доктрин, ряд докладчиков (*А.В. Карасев* (ИСл РАН), *Л.В. Кузьмичева*) указывали на их значение как на фактор формирования государственной националистической идеологии.

Но офицерство играло активную роль и во внутривнутриполитической жизни балканских государств. В условиях отмеченной слабости князей-монархов, нигде не сумевших вплоть до начала XX в. создать власти, надежно опирающейся на армию, как оно должно было бы быть, военные, имевшие свои организации (союзы, клубы), выступали оппонентами не только таких слабых структур как балканские парламенты и политические партии, но и самих монархов. Проблема взаимоотношений между армией и монархами, не будучи урегулирован-

ной изначально, стала главной болевой точкой управленческой жизни балканских государств вплоть до начала Второй мировой войны. Эта особенность, как показали также выступления *Р.П. Гришиной* и *Ар.А. Улуяна* (ИВИ РАН), проявлялась столь однотипно во всех основных балканских странах, что несомненно, может быть отнесена к характерным *общеевропейским* явлениям. Политически активное офицерство действовало внутри страны, кроме того, с целью вообще ликвидировать слабые политические структуры в виде партий и парламентов и подавить сам дух либерализма и демократии, которые якобы обессиливали общество, нуждавшееся, по их мнению, во власти сильной руки. Они считали необходимым установить в том или ином виде диктатуру. Так в конечном счете и получилось: в 1929 г. была установлена диктатура короля Александра в Югославии, в 1935 г. – диктатура царя Бориса в Болгарии, наконец-то, сумевшего овладеть армией, в 1936 г. – диктатура генерала *И. Метаксаса* в Греции.

Следует отметить также выявление в ходе конференции важного исторического феномена, который уместно было бы назвать *лабильностью этнического (национального?) сознания* части славян. Эта тема прозвучала в докладах *И.В. Чуркиной*, *А.И. Филимоновой* и частично – *Ю.В. Ивановой*. Так, по утверждению *И.В. Чуркиной*, в последней четверти XIX в. в результате усиленной германизации часть словенцев “просто растворилась в немецком большинстве”. Новое направление этот процесс принял с конца XIX в. в связи с наступлением католической церкви, когда Католическая партия, вытеснив и маргинализировав прежние словенские партии, стала играть ведущую роль в общественной жизни. Потере этнической идентичности словенцами, продолжавшейся и в XX в., способствовало, по мнению *И.В. Чуркиной*, официальное признание католической религии в качестве главного отличительного признака словенского народа.

Впечатляющие примеры активности католической церкви в деле целенаправленного (и весьма продуктивного) насаждения среди южнославянского населения

хорватского национального сознания привела в своем докладе *А.И. Филимонова* (ИСл РАН): «“Католическая акция” 1918–1929 гг.» сопровождалась поворотом епископата к радикальным, националистическим концепциям, к политике “охорвачивания” молодежи, что позволяло ему добиваться успеха за 5–10 лет работы в школах и церковных организациях. С этой деятельностью *А.И. Филимонова* связывает и массовость усташского движения в годы Второй мировой войны. Феномен лабильности этнического сознания известен и применительно к населению македонских земель, что хорошо показал в своем докладе *М.Л. Ямбаев*, описавший систему насильственных мер административного и экономического характера, применявшуюся деятелями ВМОРО в “воспитательных целях”, и в их числе – использование тай-

ной полиции, “убивавшей бесполезных для идеи людей”.

Из материалов конференции следует, что на протяжении десятилетий балканские политики и интеллектуалы стремились *будить то или иное национальное сознание* в многослойной толще “своего” крестьянства, но ответ в разных обстоятельствах они получали разный: процесс превращения архаичного общества в гражданское оказывался весьма длительным и от “воспитательных” мер все-таки не слишком зависимым.

© 2005 г. *Р.П. Гришина*

Материалы на основе докладов некоторых участников конференции будут опубликованы в одном из ближайших номеров журнала “Славяноведение”.

Славяноведение, № 5

А.Н. Пыпин и проблемы славяноведения

Под таким названием 3 июня 2004 г. в Институте славяноведения РАН прошла научная конференция, проведенная совместно с Российским государственным гуманитарным университетом. В ней приняли участие специалисты из Москвы, С.-Петербурга, Твери, Саратова, Брянска, Рязани, Йошкар-Олы. Конференция проводилась в рамках Дней славянской письменности и культуры и была приурочена к 100-летию со дня смерти выдающегося русского ученого, историка культуры, литературоведа, этнографа, археографа, публициста, слависта широкого профиля.

Конференцию открыл директор Института, член-корр. РАН, проф. *В.К. Волков*. В своем вступительном слове он отметил не только “юбилейную” целесообразность обращения к наследию этого маститого ученого, наследию, не потерявшему своей актуальнос-

ти в решении ряда научных проблем и подходе к изучению славянской идеологии и современного панславизма. Д-р ист. наук, зав. Отделом восточного славянства *Л.Е. Горизонтов* (ИСл РАН) подчеркнул важность конференции, посвященной изучению научного творчества *А.Н. Пыпина*, в плане ведущихся в отделе историко-славистической, украинской и белорусской проблематики, польского вопроса и пр. Канд. ист. наук *М.Ю. Досталь* (ИСл РАН) указала, что такая полномасштабная пыпинская конференция в России проводится впервые, и призвала ее участников объективно оценивать творчество ученого, отдавая должное его научным заслугам, но без их апологизации.

Научную часть конференции открыл доклад проф. МГУ *Л.П. Лантвевой* “*А.Н. Пыпин и его значение для развития славяноведения в России*”. Автор от-

метила, что ученый занимает выдающееся и вполне самостоятельное место в истории русской науки и общественной мысли. Он последовательно и упорно боролся с проявлениями славянофильской идеологии в науке. Автор привела интересный и новый материал об откликах на "Обзор истории славянских литератур" (1865) в России и за рубежом, отмечая, что коллеги дружно упрекали А.Н. Пыпина в отстраненности от предмета исследования и недооценке славянского национального самосознания. Замечания он частично учел при подготовке нового издания "Истории славянских литератур" (1879–1881). Его сочинение было переведено на разные языки, но именно через немецкий перевод оно стало культурным явлением в Центральной Европе.

В докладе д-ра ист. наук *В.М. Хевролиной* (ИРИ РАН) "Россия и славяне в интерпретации А.Н. Пыпина" рассматривались взгляды ученого на проблемы взаимоотношений русского общества и зарубежного славянства. Автор отметила, что Пыпин активно полемизировал со славянофилами, отвергая их учение об особости славянского мира и его мессианском предназначении. Славяне, утверждал он, развивались в русле европейской цивилизации, необходимо уважать их национальные особенности и интересы и оказывать бескорыстную помощь в их борьбе. Будущее славян ученый связывал с демократизацией внутривосточного строя России и созданием славянской демократической федерации.

А.С. Озерянский (Музей Н.Г. Чернышевского, Саратов) в докладе "К вопросу об исторических взглядах А.Н. Пыпина" осветил взаимосвязи культурно-исторической методологии, применяемой ученым, с теоретическими постулатами современной ему исторической науки. Автор подчеркнул, что системно-научное изучение явлений и событий, новые формы историзма, теория эволюции и прогресса наполняли сочинения А.Н. Пыпина историческим оптимизмом. Он воспринял и творчески усвоил некоторые идеи позитивизма, избежав в своих сочинениях многих крайностей этого учения.

Канд. ист. наук *О.В. Павленко* (РГГУ) в докладе "Реконструкция панславизма в трудах А.Н. Пыпина" отметила, что в своих трудах ученый пришел к выводу о разных типах панславизма. Один из них он называл "мнимым", миф о котором был создан враждебными славянам народами (немцами и венграми). С другой стороны, в "истинном" славянском панславизме существовали различия между его пониманием у западных славян (культурно-литературное, духовное единение и сотрудничество) и в России (политическое объединение под ее эгидой). Последний вариант существовал скорее в общественном мнении, чем в реальной политике, так как панславизм не был официальной внешнеполитической доктриной российского правительства.

Проф. *И.Г. Воробьева* (Тверской университет) в своем докладе "А.Н. Пыпин и Н.А. Попов" провела сравнительно-типологический анализ жизни и творчества выдающихся русских ученых, придерживавшихся разной общественно-политической ориентации. По мнению автора, в их научных взглядах тем не менее можно найти много общего. Они понимали русскую самобытность как часть славянской, были единомышленниками в понимании значения изучения и пропаганды русско-славянских связей.

В еще одном докладе *М.Ю. Досталь* "А.Н. Пыпин и И.И. Срезневский" говорилось о непростых личных отношениях ученика и учителя. Первоначально петербургский профессор всячески поддерживал и поощрял способного студента, дал положительный отзыв на его магистерскую диссертацию (1857). Но в дальнейшем их пути из-за разных общественно-политических взглядов все более расходились. И.И. Срезневский выступил против научного продвижения молодого ученого в столичном университете (1860) и Академии наук (1871). В то же время А.Н. Пыпин, осуждая консерватизм маститого слависта, уважительно относился к его трудам, а после смерти ученого по достоинству оценил его вклад в развитие славяноведения в России.

В докладе канд. ист. наук *Д.А. Балыкина* (Брянский университет) анализировались взгляды А.Н. Пыпина на историческое развитие русско-украинских культурных связей с древности до конца XIX в., отмечался его личный вклад в укрепление добрососедских отношений между двумя братскими народами. По мнению автора, Пыпин представил свой взгляд на развитие русско-украинских взглядов в виде целостной концептуальной схемы, исследуя своеобразный диалог двух близких славянских культур. При этом Пыпин обратил внимание на факты нарастания негативного отношения к русской культуре среди украинской интеллигенции в XIX в.

Д-р ист. наук *И.И. Лециловская* (ИСл РАН) в докладе "Россия в сербских народных песнях XVIII в." отметила интерес А.Н. Пыпина к сербской народной культуре, проявившийся в его "Истории славянских литератур", в статьях, опубликованных в "Вестнике Европы". Автор проанализировала вопрос о месте устного народного творчества в сербской культуре, его значении как национального достояния в жизни сербского народа. Тем большее значение имело отражение в нем образа России.

В докладе канд. ист. наук *А.Н. Горяинова* (ИСл РАН) «П.Б. Струве об А.Н. Пыпине и о втором издании "Истории славянских литератур"» анализировались юбилейные статьи известного русского историка и общественно-политического деятеля П.Б. Струве в эмигрантской либеральной газете "Россия и славянство" (Париж, 1931, 1933), посвященные А.Н. Пыпину и его книге. Докладчик подчеркнул, что пытается сблизить А.Н. Пыпина со славянофилами и модернизируя его взгляды, П.Б. Струве ставил своей целью сплотить русскую эмиграцию на русской почве для борьбы против СССР.

В докладе д-ра ист. наук *И.В. Чуркиной* (ИСл РАН) освещался вопрос о том, как воспринимались труды А.Н. Пыпина в Словении. Автор отметила, что "Истории славянских литератур" была встречена словенскими учеными (Ф. Целестин, М. Мурко, И. Приятель и др.) весьма критически: отмечались фактические

ошибки, частое смешение словенской литературы с хорватской, недостаток славянского чувства, анализ литературных явлений с публицистических и либерально-демократических позиций и пр. Выше ставились труды Пыпина по истории русской литературы, отражавшие движение идей в русском обществе. В них он признавался лучшим знатоком русской народности. Кроме того через труды русского ученого в Словению проникли идеи культурно-исторической школы.

В докладе *Л.М. Аржаковой* (СПбГУ) «"Польский вопрос" в интерпретации А.Н. Пыпина» отмечалось, что он в серии статей, опубликованных в 1880 г. в "Вестнике Европы" ("Польский вопрос в русской литературе"), делал упор именно на литературу. Его интересовало, как она и стоявшее за ней русское общество (в основном славянофилы) реагировали на польскую проблему. В докладе обращалось внимание на понимание Пыпиным сути польского вопроса, на постановку им проблемы, существовала ли в русском обществе возможность относительно свободно выражать мнение о прошлом, настоящем и будущем Польши.

Д-р ист. наук *С.М. Фалькович* (ИСл РАН) в своем выступлении "А.Н. Пыпин и Польша" отметила, что вопрос о связях ученого с польскими коллегами имеет большое научное и политическое значение. А.Н. Пыпин поддерживал научные контакты с польскими учеными в переписке, сообщая о научных новостях, настроениях в обществе и пр. Польские ученые отмечали принципиальное отличие объективных с их точки зрения работ Пыпина от Польше от трудов, представлявших официальную имперскую точку зрения.

В докладе д-ра ист. наук *Н.М. Пауаевой* (ГПИИБ) "А.Н. Пыпин и Галичина" анализировались работы ученого, посвященные этому многострадальному краю. В "Обзоре славянских литератур" (1865) Пыпин представил в основном верную картину истории Галичины и национального возрождения русинов в XIX в. В "Истории славянских литератур" (1879), когда национальное движение галичан разбилось на две враждую-

щие группировки – “москвофилов” и украинофилов-“народовцев”, Пыпин встал на сторону последних, так как симпатизировал украинскому национально-культурному движению в России и видел в “народовцах”, его продолжение. Тем не менее он отстаивал древнерусское единство.

Д-р филол. наук *Ю.А. Лабынцев* (ИСл РАН) выступил на тему “А.Н. Пыпин и белорусский народ”. Он отметил, что в начале своей научной деятельности ученый не замечал белорусов из-за своих польских симпатий. Позднее он уделил внимание белорусскому народу, внося вклад в его изучение, следя за появлением новых материалов по белорусской истории и культуре. Однако Пыпин не мог в то время адекватно разобраться в некоторых вопросах, например не до конца понял сложность разграничения между народной белорусской литературой и польской провинциальной белорусской литературой. Но положителен сам факт признания Пыпиным самостоятельного существования белорусского

языка и литературы, другими учеными отрицавшийся.

Выступавшие в прениях в заключение конференции (О.В. Павленко, Н.М. Пашаева, А.С. Озерянский, И.В. Чуркина, Л.П. Лаптева, М.Ю. Досталь) подчеркнули актуальность и необходимость дальнейшего развития историко-славистических исследований и изучения славянской идеологии в нашей стране. Подобные конференции необходимы для обмена мнениями между коллегами, утверждения новых взглядов, разрушения сложившихся стереотипов в оценке деятельности славистов и пр.

Участники конференции выразили сердечную благодарность за ее организацию и проведение ее организаторам – М.Ю. Досталь, О.В. Павленко и И.В. Чуркиной. По материалам конференции планируется издание специального сборника.

© 2005 г. *М.Ю. Досталь*

Славяноведение, № 5

Международная конференция “Изобретение Славии”

12 ноября 2004 г. в Праге состоялась однодневная международная конференция-брифинг “Изобретение Славии”, организованная профессором славистики Пражского университета (Karlova univerzita) Т. Гланцем при активном содействии Славянской библиотеки, функционирующей при Национальной библиотеке Чешской республики. Исследователи из Чехии, России, Германии и Швейцарии выступили с докладами на чешском, русском и английском языках и приняли участие в дискуссиях.

Открывая конференцию, Т. Гланц подчеркнул, что ее основной задачей является изучение источников формирования “славянской идеологии” (включающей в себя, в частности, идеи “славянской

идентичности”, “славянской нации”, “славянской взаимности”), а также концепций “славянского языкознания”, “славянского политического движения” и в целом “славяноведения как научной дисциплины”. Так, если привлекать к анализу лингвистический материал, то генетическая связь славянских языков, с точки зрения современной лингвистики, не вызывает особых сомнений. Однако концептуализация языка, его “эпистемология” и связь с мышлением, с культурной, социальной и национальной идентификацией индивидуума, несомненно, требует анализа. Существуют ли, к примеру, “славянские” литература, архитектура, ментальность и т.д.? На определенных исторических этапах все эти катего-

рии осмыслялись в соответствии с научными и политическими дискурсами конкретных эпох и конкретных научных и риторических контекстов. Именно поэтому, заключил Т. Гланц, с сегодняшней точки зрения кажется необходимым “археологический” анализ всех этих концепций, мыслеформ, идеологем и научных конструктов, который помог бы лучше понять не только процесс возникновения и формирования соответствующих явлений, но и их дальнейшее развитие (вплоть до современности). Поэтому брифинг был направлен на критическую интерпретацию основ “славянства” в ракурсе тех конкретных контекстов, в которых они были сформулированы. Ученые-основоположники “славянского дискурса”, такие, к примеру, как П.И. Шафарик, Я. Коллар и многие другие исходили из определенных предпосылок, учений, концепций и условий своего времени – политических, лингвистических, расовых, культурологических и т.д. На эти концепции в дальнейшем наслаивались актуальные и часто утилитарные требования, связанные с конкретными личностями и обстоятельствами (национальное возрождение, формирование новых государств, позитивизм, структурализм, борьба с нацизмом...). Поэтому актуальной задачей является анализ представлений о славянах и славянстве, а также “археология” и “эпистемология” самой славистики – с точки зрения современных подходов, которые неизбежно отличаются от дискурсов прошлого.

Доклад самого Т. Гланца был посвящен “мускулам и языкам” – “биоантропологическим” и лингвистическим “аргументам”, приводившимся в пользу существования Славии как единого образования. Критическому анализу были подвергнуты романтическая теория И.Г. Гердера, согласно которой основу любой национальной культуры составляют язык и некоторое “фольклорное ядро”; позитивистский биологический генеалогизм, господствовавший в лингвистике XIX в. и представленный прежде всего работами А. Шлейхера, а также позднесталинская версия “славянской взаимности”. Особое внимание было уделено анализу концепций, авторы ко-

торых пытались определить славян как особую “расу”, а также так называемым территориальным гипотезам, привязывавшим славянство к определенной территории.

Дискурсу о границах России, славянского мира и Евразии был посвящен доклад П. Серию (Швейцария). Исследователь подробно проанализировал теории А.Ф. Гильфердинга, В.И. Ламанского и евразийцев (прежде всего Р.О. Якобсона, Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого), картографировав их рассуждения и показав, что географическое положение России в трех соответствующих теориях последовательно смещалось с запада на восток – так, что в дискурсе евразийцев Россия совершенно отделялась от славянского мира. По мнению П. Серию, это “смещение” России на восток представляло собой нечто гораздо большее, чем простое географическое ее “перемещение”: речь шла о натуралистическом видении культуры. Устанавливая связи между языками и культурой, авторы представленных концепций считали, что “свое” и “чужое” не определяются ими самими, но существуют изначально. Именно в признании этой изначальноности, онтологической первичности их существования и состоял натурализм данного эпистемологического подхода.

Э. Елинкова (Чехия) рассказала о влиянии общественно-политического и культурного движения иллиризма на формирование южнославянских литератур, а в центре доклада другой чешской исследовательницы, Д. Павловой, была проблема “славянской взаимности”. В сообщении В. Сватоня (Чехия) речь шла о славизме русских и славизме других славянских народов, философских и эпистемологических основах и предпосылках данных идеологем. Х. Мейер (Германия) посвятил свое сообщение колларовскому “Inventio”: его детальный анализ позволил исследователю поставить вопрос о риторичности так называемой славянской науки.

Е. Вельмезова (Россия) рассказала о журнале “Славяне” – печатном органе Всеславянского комитета, который издавался в СССР в 1940–1950-х годах. Как подчеркнула исследовательница, первый

номер журнала вышел в 1942 г., т. е. уже во время Великой Отечественной войны, причем в самый ее критический для Советского Союза период, когда все силы и средства СССР (как человеческие, так и экономические) должны были направляться на борьбу с захватчиками. Понятно поэтому, что появление нового журнала – несомненно, потребовавшего значительных инвестиций – было идеологически значимой и очень важной акцией. Тем самым доклад Е. Вельмезовой стал наглядной иллюстрацией того, что дискурс о “славянском единстве” приобрел особую значимость и актуальность в критические для славянских народов моменты их истории.

Как подчеркнул *Т. Гланц*, закрывая брифинг, делать какие-то однозначные выводы и искать окончательные решения поставленных проблем пока было бы преждевременно. Именно поэтому мероприятие следует считать скорее рабочей встречей, за которой должны последовать и другие. Эту надежду на продолжение встреч и научных контактов выразили и остальные докладчики и участники брифинга, поблагодарив *Т. Гланца* и сотрудников Славянской библиотеки за прекрасно организованное заседание.

Доклады участников планируется опубликовать отдельным сборником.

© 2005 г. *Е. Вельмезова*



К юбилею Ирины Степановны Достян

21 апреля 2005 г. – знаменательный день в жизни Ирины Степановны Достян, доктора исторических наук, известного специалиста по новой истории балканских народов, международных отношений на Балканах в XVII–XIX вв., русско-балканских (и в первую очередь русско-сербских) общественно-политических связей, а также российской общественной мысли XIX в.

И.С. Достян после окончания аспирантуры МГУ пришла в декабре 1948 г. в Институт славяноведения, с которым на протяжении десятилетий неразрывно связана вся ее научная деятельность. Кандидатская диссертация Ирины Степановны, защищенная в 1950 г., была посвящена социально-экономическим отношениям в сербской деревне накануне восстания 1804 г. Но получив в годы учебы в МГУ хорошую подготовку как историк-медиевист, она одновременно занималась изучением борьбы южнославянских народов против турецкой экспансии в XIV–XV вв. Первая ее большая статья по этой широкой проблеме была опубликована в “Византийском временнике” в 1953 г. И.С. Достян принимала участие в работе над “Историей Болгарии” (Т. 1–2. М., 1954–1955), была одним из основных авторов и редакторов “Истории Югославии” (Т. 1. М., 1963). Ее первая индивидуальная монография “Борьба сербского народа против турецкого ига. XV – начало XIX в.” – одна из первых книг советских историков по югославянской тематике – была опубликована в 1958 г.

В 1960-е годы Ирина Степановна много внимания уделяла изучению Сербского княжества в первые десятилетия его существования. В ее статьях по проблематике русско-сербских, русско-черногорских и русско-греческих связей вводятся в научный оборот ценные источники, найденные в российских архивах. Монография И.С. Достян “Россия и балканский вопрос. Из истории русско-балканских политических связей в первой трети XIX века” (М., 1972) была защищена в качестве докторской диссертации. В последующие годы Ирина Степановна внесла большой вклад в работу над фундаментальной советско-югославской публикацией “Первое сербское восстание 1804–1813 гг. и Россия” (Т. 1–2. М., 1980–1983), заслуженно ставшей эталонным изданием документов по новой истории.

В 1970-е годы И.С. Достян сосредоточилась на изучении русской общественной мысли конца XVIII – первой трети XIX вв. и особенно преломления в ней балканского вопроса, проблем национально-освободительных движений южных славян. Серьезный вклад в науку представляют собой ее труды о внешнеполитических концепциях декабристов. Основные ее исследования по данной проблеме составили книгу очерков “Русская общественная мысль и балканские народы. От Радищева до декабристов” (М., 1980), получившую высокую оценку не только балканистов, но и специалистов по истории отечественной общественной мысли.

И.С. Достян обращалась также к изучению общих проблем формирования национальных государств в Юго-Восточной Европе XIX в., особенностей складывания национального самосознания у отдельных балканских (не только славянских) народов, ее продолжала глубоко интересоваться и политика России на Балканах. Она принимала участие в работе над многотомной серией “Балканские исследования”, входила в круг авторов серии монографий “Международные отношения на Балканах” (и в первую очередь книги “Александр I, Наполеон и Балканы”. М., 1997), неоднократно выступала с докладами на международных славистических и балканских конгрессах и симпозиумах. Под редакцией Ирины Степановны вышли: коллективный труд “Формирование национальных независимых государств на Балканах. Конец XVIII – 70-е годы XIX в.” (М., 1986), сборник документов и материалов “Черногорско-русские

отношения, 1711–1918 гг.” (Подгорица; М., 1992), сборник статей “Россия и Балканы: Из истории общественно-политических и культурных связей (XVIII в.–1878 г.)” (М., 1995).

Логическим продолжением исследований И.С. Достяна по проблемам сербского национально-освободительного движения и становления сербской государственности в XIX в. стало ее обращение в 1990-е годы к изучению огромной роли православной церкви в сохранении национальной, культурной самобытности сербов в условиях турецкого господства, а также к проблемам формирования национальных идеологий у сербов и черногорцев в условиях борьбы против турок и укрепления независимости Сербии и Черногории. При этом активизация национально-освободительного движения балканских народов в начале XIX в. рассматривалась ею как одно из проявлений углублявшегося кризиса Османской империи.

В последние годы в сферу научных интересов И.С. Достяна продолжают входить проблемы российской политики и международных отношений на Балканах, а именно: Восточный вопрос на Венском конгрессе 1814–1815 гг., значение Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г. для последующей балканской политики России и др. Как один из авторов двухтомника “Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в.” (М., 1998–2001) И.С. Достяна вновь обратилась к изучению положения балканских народов в XVII в. в неразрывной связи с политикой Порты и международными отношениями в Юго-Восточной Европе.

На протяжении четырех десятилетий И.С. Достяна входит в круг авторов журнала “Славяноведение”. Одна из ее статей “Политика царизма в Восточном вопросе: верны ли оценки Маркса и Энгельса” (1991, № 2) стала этапной для развития отечественной балканистики, сыграв свою роль в высвобождении научной методологии из-под груза догм, довлевших над историками в течение многих десятилетий.

Вклад И.С. Достяна в отечественную историческую науку бесспорен и признан в нашей стране и за рубежом. О ее работах очень высоко отзывались: югославские историки – академики В. Чубрилович, Сл. Гаврилович и М. Екмечич, болгарский ученый, академик Н. Тодоров, американские балканисты Б. и Ч. Елавичи и многие другие. Но как бы важны и интересны ни были труды Ирины Степановны, они не могут в полной мере обозначить ее роль в развитии советского и российского славяноведения. Ее эрудиция, широкий кругозор, в высшей степени добросовестное отношение к избранной еще в юности специальности, истинная интеллигентность, житейская мудрость и необычайная душевность всегда притягивали к Ирине Степановне представителей разных поколений – от закаленных в научных баталиях “аксакалов” до “зеленой молодежи”.

Возможно не все в жизни И.С. Достяна получилось соразмерно ее таланту и знаниям. Это объяснимо и даже закономерно, если вспомнить время, в котором прошла большая часть ее жизни. Но одно бесспорно: ее труды – это гордость нашей исторической науки, ценный вклад в мировую славистику, и они всегда будут востребованы.

Мы любим и уважаем Ирину Степановну, восхищаемся ее научными и человеческими качествами, оптимизмом, преданностью науке и желаем ей в год весьма солидного юбилея оставаться по-прежнему в “научном строю” и, конечно, здоровья, благополучия и успехов.

© 2005 г. Дирекция и коллектив
Института славяноведения РАН

Редколлегия и редакция журнала “Славяноведение” присоединяются к поздравлению и желают Ирине Степановне здоровья и творческих успехов.

Славяноведение, № 5

К юбилею Геннадия Григорьевича Литаврина

6 сентября 2005 г. исполняется 80 лет со дня рождения замечательного российского ученого, слависта и византиниста, действительного члена РАН и почетного члена Болгарской Академии наук Геннадия Григорьевича Литаврина. Предшествующие юбилеи ученого, его 70-ле-

тие и 75-летие стали поводом к изданию посвященных ему сборников научных статей и очередных томов “Византийского Временника”, а также отмечались специальными заседаниями Ученого Совета Института славяноведения. Нашли отражение эти события и в соответствующих выпусках журнала “Славяноведение”. Поэтому сейчас мы кратко напомним лишь об основных вехах в научном творчестве юбиляра с упором на славистическую его составляющую.

В 1960 г. увидела свет монография Г.Г. Литаврина “Болгария и Византия в XI–XII вв.”, являющаяся логическим продолжением кандидатской диссертации “Борьба болгарского народа против византийского ига” (1954). Позднее Г.Г. Литаврин от проблем возникновения Второго Болгарского царства перешел к изучению складывания изначальной болгарской государственности в VII–IX вв. Одна из важнейших его работ на эту тему – статья “К проблеме становления Болгарского государства”, опубликованная в “Советском славяноведении” в 1981 г. Позднее его размышления о генезисе и развитии государственности отразились в коллективном труде “Раннефеодальные государства на Балканах VII–XII вв.” (1985), а также в совместном труде международного коллектива авторов “Раннефеодальные государства и народности (Южные и западные славяне в VII–XII вв.), ответственным редактором которых также был Литаврин.

Еще одна тема, тесно связанная с предыдущей, – это складывание болгарской народности. Г.Г. Литаврина особенно занимал симбиоз кочевого тюркского и оседлого славянского населения в Первом Болгарском царстве. Позволим себе высказать дерзкое предположение, что исследователь привлек для раскрытия этой темы свой жизненный опыт: ведь детство нашего юбиляра прошло на Горном Алтае, среди русского населения, находившегося в тесном контакте с кочевыми народами. В то самое время, когда Г.Г. Литаврин занялся проблемой славяно-протоболгарского симбиоза, в самой Болгарии происходила своего рода “реабилитация” протоболгар за счет принижения роли славян. Для тамошней интеллигенции празднование “1300-летия Болгарии” в 1981 г. было поводом для легкого квази-антиславянского, а на самом деле антисоветского фрондерства. Трезвый голос Литаврина звучал диссонансом в этом хоре, но его это не смущало. Он всегда считал, что своим делом нужно заниматься без оглядок на политическую конъюнктуру, какова бы она ни была. Не имея в виду никаких иных целей, кроме научной истины, наш юбиляр скрупулезно проследил, как кочевое тюркское население, оседая на землю, постепенно теряло свою идентичность и растворялось в численно превосходящем славянстве. Результатом трудов Г.Г. Литаврина стали главы об этническом самосознании болгар в коллективных трудах “Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья” (1982) и “Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма” (1989). Также под его руководством был осуществлен и завершающий том этой “трилогии” – коллективный труд “Развитие этнического самосознания народов Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы в XV в.” (1995). Следующим коллективным проектом, в котором Г.Г. Литаврин был как руководителем, так и “рядовым”, но очень активным исполнителем, стал двухтомный “Свод древнейших письменных известий о славянах” (1991–1995). Наконец, еще одной темой, также связанной с проблемами как государственности, так и этничности, стало конфессиональное развитие славянского региона. Опять же, наш юбиляр выступил в двух ипостасях: автора главы о Болгарии и руководителя всего авторского коллектива в труде “Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси” (1988).

Еще одна сфера научных интересов Г.Г. Литаврина – это русско-византийские отношения древнейшего периода. Ими он начал заниматься еще в 1960-х годах и опубликовал на эту тему более десятка статей, важнейшие из которых были переизданы в сборнике авторских работ “Византия и славяне” (1999). Это, повторим, лишь очень конспективный и неполный обзор того, что сделал наш юбиляр в области славянской медиевистики.

Скажем теперь чуть подробнее о том, что успел сделать этот неутомимый исследователь за последние пять лет.

В 2003 г. увидело свет второе, сильно переработанное и дополненное издание важнейшего источника по византийской истории XI в. – “Советы и рассказы Кекавмена”, где в комментариях было учтено гигантское количество научной литературы, изданной после первого издания книги в 1972 г. Г.Г. Литаврин продолжает работать над темами, которые интересовали его на протяжении многих лет: в России и за рубежом им опубликован ряд статей по византийскому праву и аграрным отношениям в Византии и средневековой Болгарии, глава о христианстве в Болгарии X–XI вв. в коллективном труде “Христианство в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы на пороге второго тысячелетия” (2002). Под его руководством большой коллектив авторов готовит к переизданию (первое издание вышло,

также под его руководством, в 1989 г.) комментированный труд Константина Багрянородного “Об управлении империей”, этот центральный источник по истории Восточной Европы в X в., для которого Г.Г. Литаврин, опережая, как всегда, своих коллег, уже написал обширное предисловие.

Наш юбиляр по-прежнему возглавляет Национальный комитет византинистов России и является вице-президентом Международной ассоциации византийских исследований. Он много лет руководит ежегодником “Византийский временник”, главным и старейшим византиноведческим периодическим изданием России, а до недавнего времени возглавлял редколлегию периодического сборника “Славяне и их соседи”. Г.Г. Литаврин является также главой редколлегии “Византийской серии” петербургского издательства “Алетейя”.

Геннадий Григорьевич и сегодня вызывает восхищение и зависть своих более молодых коллег творческой энергией, научным упорством и работоспособностью. Накануне своего восьмидесятого дня рождения он полон сил и творческих планов.

Χρόνια πολλά!

© 2005 г. Дирекция и коллектив
Института славяноведения РАН

Редколлегия и редакция журнала “Славяноведение” также поздравляют Геннадия Григорьевича Литаврина и желают ему здоровья и творческих сил.

Славяноведение, № 5

К юбилею Нелли Петровны Мананчиковой

1 марта 2005 г. воронежские слависты отметили юбилей профессора кафедры истории Средних веков и зарубежных славянских народов Воронежского государственного университета д-ра ист. наук Нелли Петровны Мананчиковой. С Воронежским университетом связана вся сознательная жизнь Нелли Петровны. Здесь она была студенткой, училась в аспирантуре, здесь сформировалась как преподаватель и ученый.

Нелли Петровна родилась в 1930 г. в г. Грязи в семье железнодорожного служащего. После окончания в 1948 г. средней школы в родном городе она поступила на исторический факультет Воронежского университета, где в то время стараниями только что переехавшего в Воронеж профессора И.Н. Бороздина, который возглавил кафедру всеобщей истории, создавались традиции историографического и славистического направлений исследований. Бороздин сумел оживить работу кафедры, привлечь на нее способных аспирантов, объединить и направить работу молодых доцентов и преподавателей. Нелли Петровна стала ученицей Ильи Николаевича, а после его кончины в 1959 г. – доцента кафедры А.Е. Москаленко, много сделавшего для сохранения и дальнейшего развития всего, заложенного Бороздиным. Окончив университет, она поступила в заочную аспирантуру и совмещала учебу с работой в областном краеведческом музее и медицинском институте, где преподавала латинский язык. В аспирантуре Н.П. Мананчикова всерьез занялась средневековой историей Дубровника. Исследованию этой темы она остается верной на протяжении всей своей творческой жизни, ей посвящены кандидатская (1967) и докторская (2002) диссертации Нелли Петровны. Всего Н.П. Мананчикова опубликовала свыше 70 работ, среди которых ряд статей о далматинских городах, по средневековой истории Сербии, Хорватии и Боснии. В 1999 г. вышла ее монография “Дубровник XIII – первой половины XV в.: проблемы торговли”.

С 1962 г. Н.П. Мананчикова преподает на историческом факультете ВГУ. В 1968 г., когда на факультете была создана кафедра истории средних веков и зарубежных славянских народов, она пришла работать на кафедру. На протяжении многих лет Нелли Петровна читает студентам курсы истории Средних веков и истории средневековой культуры, она вела спец-

курсы по зарубежной историографии истории Средних веков и источниковедению средневековой истории славянских народов, под ее руководством подготовлены и успешно защищены две кандидатские диссертации.

С 1977 г. Нелли Петровна возглавляет редколлегию сборника Воронежского университета “Вопросы истории славян”, который под ее редакцией в течение длительного времени был единственным продолжающимся изданием по славяноведению региональных университетов России. В 2004 г. вышел 16-й выпуск сборника, где опубликованы статьи ученых, работающих в Воронеже, Саратове, Твери, Красноярске, Нижневартоске. Сборник получил заслуженную популярность у московских историков, в нем регулярно публикуют статьи ученые Института славяноведения и Московского университета. К сотрудничеству в 16-м выпуске сборника Н.П. Мананчикова наряду с авторитетными учеными впервые привлекла большое число аспирантов и магистрантов, среди них есть и аспиранты кафедры истории южных и западных славян МГУ.

Сердечно поздравляем Нелли Петровну, искренне желаем ей здоровья и новых творческих успехов.

© 2005 г. *Коллеги и друзья*



Памяти профессора Тоне Ференца (1927–2003)

Европейская историческая наука понесла невосполнимую утрату в лице Тоне Ференца. Это был историк с большой буквы. Всю свою жизнь он посвятил изучению истории Словении во Второй мировой войне. Им было написано около сорока крупных работ, не считая статей.

Т. Ференц родился 6 декабря 1927 г. в городе Вержее. После окончания гимназии в Мурской Собоце, он поступил на философский факультет Люблянского университета. В 1956 г. Ференц начал работать в Музее национального освобождения Народной республики Словения в Любляне, а спустя три года в – Институте истории рабочего движения, который в 1989 г. был переименован в Институт новейшей истории. Именно там он занялся исследовательской работой и в 1965 г. защитил диссертацию “Нацистская политика денационализации в Словении в 1941–1945 гг.”. Этому периоду словенской истории он посвятил всю свою деятельность.

Ценность его работ заключается в том, что он использовал в качестве источников материалы архивов не только Словении, но и Германии, Австрии, Италии. Т. Ференц обладал редким для историка качеством – объективным подходом к изучаемой проблеме. Предоставляя факты, он давал возможность читателю самому сделать выводы, не навязывая своей точки зрения. Несмотря на все политические изменения, которые пережила Югославия в начале 1990-х годов, в его работах нет идеологических метаний, они остались такими же ровными и выдержанными.

Среди его основных исследований мы можем назвать монографию “Нацистская политика денационализации в Словении” (1968). В этой работе Ференц рассматривает проблему германизации словенского населения, а также прослеживает динамику развития депортационной политики оккупационных властей. Работа “Капитуляция Италии и народно-освободительная борьба в Словении осенью 1943 года” (1967) содержит интересные данные о наступательных операциях германских войск против подразделений Народно-освободительной армии Словении. Одно из последних исследований Т. Ференца посвящено деятельности организации “Сельская стража” и словенскому этническому движению после капитуляции Италии (2002). Такими были основные направления его исследований.

Говоря о деятельности Ференца, нельзя не сказать о том, что под его редакцией был издан ряд сборников документов. Среди них хотелось бы выделить два. Первый – “Оккупационные системы в Словении 1941–1945” представляет вниманию документы германских, итальянских, венгерских оккупационных властей, на основе которых можно судить о процессах, происходивших на оккупированных территориях, структуре и характере оккупационных систем. Обширный массив документов немецких оккупационных властей представлен в другом сборнике – “Источники о нацистской политике денационализации в Словении”. В нем находятся материалы, относящиеся к начальному этапу оккупации, а также документы, отражающие ассимилятивную политику властей в ходе оккупации и на ее завершающем этапе.

Т. Ференц является одной из ключевых фигур словенской исторической науки, он известен не только в Словении, но и за ее пределами. Это был не только настоящий ученый, но и отзывчивый человек, готовый помочь любому, кто обращался к нему за советом. Несмотря на возраст с ним было легко общаться начинающим исследователям. Ему были чужды надменность и высокомерие, он всегда с интересом выслушивал различные гипотезы и предположения, мягко указывая на неточности и на положительные моменты. Он помогал не только словенским молодым историкам, но и иностранным. В частности, Т. Ференц оказал боль-

шую помощь аспирантке Института славяноведения Надежде Пилько, которая недавно защитила кандидатскую диссертацию по истории Словении. На его консультации и спецкурсы приезжали студенты и аспиранты из Италии, Австрии, Германии и других стран. Творческий потенциал этого человека был неисчерпаем. До последних своих дней он продолжал работать, кропотливо восполняя пробелы в истории Словении в 1941–1945 гг.

© 2005 г. *Н. Пилько, И. В. Чуркина*

Славяноведение, № 5

ПАМЯТИ КАПИТОЛИНЫ ИВАНОВНЫ ХОДОВОЙ

В Москве 13 января 2005 г. на 87 году жизни скончалась Капитолина Ивановна Ходова, доктор филологических наук, работавшая в Институте славяноведения АН СССР с 1951 по 1986 г.

К.И. Ходова – одна из известных и немногих отечественных специалистов второй половины минувшего столетия в области палеославистики. В центре внимания ее исследований был синтаксис старославянского языка. Этой проблематике посвящены десятки ее статей и три монографии – “Система падежей старославянского языка” (1963), “Падежи с предлогами в старославянском языке. Опыт семантической системы” (1971) и “Простое предложение в старославянском языке” (1980), что является наиболее ценной частью научного наследия К.И. Ходовой, содержащей последовательное описание функционирования падежной системы и структуры простого предложения в старославянском языке.

Для работ К.И. Ходовой характерно сочетание глубокого интереса к теоретической основе исследуемой проблемы с внимательным отношением к конкретному материалу и тщательным его описанием. Благодаря этому формулируемые ею выводы представляют значительный интерес как в общетеоретическом, так и в конкретном – применительно к старославянскому языку – отношении. К.И. Ходова внесла новые существенные нюансы в понимание таких проблем, как синтаксическая производность, дистрибуция синтаксических структур, падежная синонимия, нейтрализация семантических противопоставлений в падежно-предложных конструкциях и др. Будучи несомненно одним из наиболее крупных знатоков старославянского падежного синтаксиса, К.И. Ходова сумела дать отвечающее современным требованиям науки описание синтаксической структуры имени старославянского языка.

В синтаксический цикл работ К.И. Ходовой входит и ее сравнительно-историческое исследование творительного падежа в славянских языках, опубликованное в известной коллективной монографии “Творительный падеж в славянских языках” (1958).

Перу К.И. Ходовой принадлежит и ряд работ, посвященных лексике. Здесь следует отметить прежде всего ее небольшую, написанную на лексическом материале, монографию научно-популярного характера “Языковое родство славянских народов” (1960). Она серьезно занималась и древнеславянской лексикой, о чем свидетельствует, в частности, ее исследование лексики древнерусского списка “Жития Нифонта” (1219). В ее планах была работа над монографией “Роль старославянского языка в формировании славянских литературных языков.”

Труды К.И. Ходовой получили широкий международный резонанс и заслуженное признание в научных кругах. Ее статьи печатались в авторитетных советских и зарубежных журналах и серийных изданиях – “Вопросы языкознания”, “Советское славяноведение”, “Ученые записки Института славяноведения АН СССР”, “*Studia palaeoslovenica*” (Прага), “*Scando-Slavica*” (Копенгаген), “*Palaeobulgarica*” (София), “*Slovo*” (Загреб) и др.

К.И. Ходова участвовала в работе международных съездов славистов в Москве (1958) и Варшаве (1973), многих общесоюзных и международных славистических конференциях и симпозиумах в Москве, Ереване, Софии, Праге, Брно, Шумене и др.

Судьба Капитолины Ивановны удивительна и в то же время характерна для ученых ее поколения. Ее родители – крестьяне. Она родилась в 1918 г. в д. Шиповая Слободка Ивановской области. Окончив среднюю школу в Иваново, она продолжила свое образование в Ленинградском

пед. институте им А.И. Герцена. В 1940 г., по окончании Института, была направлена на работу в Сибирь. Там в Абаканском учительском институте началась ее трудовая деятельность в качестве преподавателя русского языка. В 1942–1943 гг. К.И. Ходова работала в Ивановском пед. институте. В 1943 г. она поступила в аспирантуру филологического факультета Московского государственного университета, после окончания которой снова вернулась в Иваново, где в 1947–1951 гг. работала преподавателем и старшим преподавателем в местном пед. институте. В 1951 г. К.И. Ходова была принята на работу в Институт славяноведения АН СССР, с которым связана вся ее последующая жизнь ученого-слависта. В 1952 г. она защитила кандидатскую диссертацию «Наблюдения в области словарного состава древнеславянского памятника (“Житие Нифонта” в русском списке 1219 г.)» (МГУ), а в 1972 г. – докторскую диссертацию “Значения и функции форм склонения в старославянском языке” (Институт русского языка АН СССР).

Научную работу в Институте К.И. Ходова сочетала с преподавательской деятельностью. На филологическом факультете МГУ она читала спецкурсы по старославянскому языку, руководила дипломными работами студентов. Была членом диссертационных советов, выступала оппонентом по кандидатским и докторским диссертациям.

И в последние годы жизни, уже будучи больной и на пенсии, К.И. Ходова все еще была полна научных планов, желания еще что-то написать. Она завершила работу над монографией “Инфинитивные предложения в старославянском языке”, писала обширные воспоминания, первую часть которых успела подготовить к публикации.

В памяти всех, кто знал Капитолину Ивановну Ходову, останется образ доброго человека и глубокого исследователя.

© 2005 г. *Р.В. Булатова, Г.К. Венедиктов*

CONTENTS

ARTICLES

<i>Dolbilov M.D.</i> (Voronezh), <i>Stalunas D.</i> (Vilnius). "Inverse Union": Project for Catholics' Joining to the Orthodox Church in Russian Empire (1865–1866).....	3
<i>Morozov S.V.</i> (Moscow). On the Secret Polish-German 1934 Treaty.....	35
<i>Kosik V.I.</i> (Moscow). "Ksmet Kosmeta". (About the Fate of Kosovo and Metokhia)	54

COMMUNICATIONS

<i>Rupcheva G.</i> (Sofia). Activity of the Central Commission in Delivering a Relief for Russian Veterans of the 1877–1878 War Between Russia and Turkey	67
<i>Kruchkov I.V.</i> (Stavropol). Russian Diplomacy About Political Fight on the Local Church Councils of Hungarian Serbs in 1902–1907	78

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Khavanova O.V.</i> G. Marinell-König. Oberungarn (Slovakei) in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz (1805–1848). Blicke auf eine Kulturlandschaft der Vormoderne. Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme der Beiträge über die historische Region und ihre kulturellen Verbindungen zu Wien	83
<i>Vartanyan E.G.</i> България в XX век. Очерки политической истории.....	85
<i>Serapionova E.P.</i> E. Voráček. Eurasijství v Ruskem politickém myšlení. Osudy jednoho z porevolučních ideových směrů ruské meziválečné emigrace.....	90
<i>Bashindjagian N.</i> STUDIA POLONOROSSICA. K 80-letiu Eleny Zacharovny Cыбенко...	92
<i>Adelheim I.E.</i> В.Я. Тихомирова. Польская проза о Второй мировой войне в социокультурном контексте 1989–2000	95
<i>Melnikov G.P.</i> Прага. Русский взгляд.....	99
<i>Melnikov G.P.</i> Чешское искусство и литература. XX век.....	102

SCHOLARLY LIFE

<i>Grishina R.P.</i> The Conference "State and Its Institutions on Balkans in the End of XIX – First Half of XX Centuriy"	108
<i>Dostal M.Yu.</i> A.P. Pypin and Questions of Slavonic Studies.....	113
<i>Velmézova E.V.</i> International Conference "Invention of Slavia"	116

ANNIVERSARIES

Toward the Anniversary of Irina Stepanovna Dostyan	119
Toward the Anniversary of Gennady Grigoryevich Litavrin	120
Toward the Anniversary of Nelly Petrovna Mananchikova	122

OBITUARIES

In Memoriam of Professor Tone Ferenc	124
In Memoriam of Kapitolina Ivanovna Khodova	125

Сдано в набор 03.06.2005 Подписано в печать 26.07.2005 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отт. 5,6 тыс. Уч.изд.л. 11,9 Бум.л. 4,0
Тираж 527 экз. Зак. 543

Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20

E-mail: justlav@rambler.ru


Оригинал-макет подготовлен МАИК “Наука/Интерпериодика”

Отпечатано в ППП “Типография “Наука”, 121099, Москва, Шубинский пер., 6

ПОДПИСКА-2006
— ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ

1 ТОМ Российские и зарубежные газеты и журналы
2 ТОМ Книги и учебники



1 ТОМ **ПРЕС**
РОС
ИЗ
ГАЗ
И Ж

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Журналы Российской академии наук можно выписать в любом почтовом отделении России по объединенному Каталогу Федерального управления почтовой связи (ФУПС). Академические журналы объявлены в этом каталоге в разделе “АРСМИ”